



***Игровое начало
в стиле журнала “Трутень”***

*В.И. ГЛУХОВ,
доктор филологических наук*

Общеизвестно: чтобы понять писателя, надо прежде всего правильно его прочесть. Однако это удаётся далеко не всегда. Исследователю необходимо много знать об изучаемом авторе, тонко чувствовать не только текст, но и подтекст его творений, эстетически-эмоциональный склад каждой фразы. В противном случае возможны досадные просчёты.

Именно таковые просчёты, на наш взгляд, допускаются при изучении сатирического журнала Н.И. Новикова “Трутень”, – уже начиная с авторского предисловия. Исследователи обычно не замечают содержащейся в нём иронии издателя, прочитывая его, как ни странно, слиш-

ком буквально. Они всерьёз принимают утверждение о том, что сам издатель, “кроме сего предисловия”, писать для журнала будет “очень мало” и намерен публиковать большей частью “чужие труды” (см.: Сатирические журналы Н.И. Новикова. М.-Л., 1951. С. 47; далее только – Лист и порядковый номер). Не было отмечено, что этот текст задавал особого рода весёлый смеховой настрой ко всему составу еженедельника. Он и писался с использованием приёма литературной игры, на чём также никто из исследователей не сосредоточил внимания.

Обращаясь к читателям, Новиков выдаёт себя за беспечного, неприкаянного ленивца, не желающего заниматься ничем. “Сколько вы не думайте, – замечает он, – однако ж верно не отгадаете намерения, с которым выдаю сей журнал, ежели я сам о том вам не скажу. (...) Послушайте ж, дело пойдёт о моей слабости: я знаю, что леность (...) непримиримый враг трудолюбия; ведаю, что она человека делает неспособным к пользе общественной и своей частной (...), но со всем тем, никак не могу её преодолеть”. Далее сообщается, что издатель из-за своей лености не ездит на поклон к “большим боярам”, не читает книг, не просвещает разум науками и познаниями. Являясь “вечным невольником лености”, даже никакой себе не избрал службы (ни военной, ни приказной, ни придворной). Одно лишь желание почувствовал в себе – издавать еженедельное сочинение, несмотря на сомнения в своих к тому способностях (Трутень. 1769. Лист I).

Новиков изъясняется здесь как бы не от себя лично, а от имени вымышленного им литератора-юмориста, что, впрочем, никак специально не оговаривается. Выраженная в предисловии предрасположенность издателя ко всему комическому и любопытному обязывает его отбирать для журнала соответствующий литературно-публицистический материал, способный увлечь читателей как содержанием, так и своей занятой формой. Рассмотрим, как в “Трутне” подаётся и обрамляется этот материал, какое он обретает словесно-стилистическое воплощение и как реализуется заданная предисловием игровая установка.

Уже в следующих выпусках журнала (Новиков называет их листами) помещается материал, отправители которого непосредственно откликаются на необычное предисловие, подчас подхватывая слова и речевые обороты мнимого издателя. Отправители как бы вступают с ним в диалог, стремясь попасть в предлагаемый тон изложения. Так, автор сатирической притчи “Слон произведенный в чин” в письме к издателю сообщает, что он, “не входя в подробное исследование” причин издания журнала, поспешил первым оказать ему “вспоможение” присылкой своего сочинения. Что же касается второго произведения, включённого во второй лист еженедельника, то оно – по уверению издателя – будто бы было письмом его дяди, присланным ему “ещё в третьем году”. Оно, как не без скрытого лукавства поясняет издатель, публику-

ется лишь потому, что больше никто из “господ читателей” не откликнулся на его просьбу. Письмо это самым непосредственным образом соотносится с предисловием к “Трутню”. Отправитель, уездный воевода, выражает недоумение, почему его племянник ещё не нашёл себе никакого дела: “Уведомился я, что ты и по сие время ни в какую ещё не определился службу. (...) Я тебя не приневоливаю ийти ни в придворную, ни в военную службу (...), пусть это будет по-твоему, а притом и службы сии никакой не приносят прибыли, а только разоренье. Но скажи пожалуй, для чего ты не хочешь ийти в приказную? Почему она тебе противна?”

Нет, не исторический Новиков признаёт своим дядей уездного воеводу-взяточника, а созданный его воображением издатель сатирического еженедельника. Именно этому вымышленному лицу адресованы другие письма и материалы, опубликованные в очередных выпусках “Трутня”. И все они исполнены язвительного тона и игрового настроения, их отличает особая манера изъяснения. На простодушно-ироническое размышление издателя, почему племянник не определился ещё ни в какую службу, его дядя отвечает по-деловому серьёзно и даже убеждает молодого человека добиваться назначения в их город на должность прокурора...

А в третьем и четвёртом выпусках еженедельника печатается странное письмо анонимного автора, склонного всех третировать и хулить, а восхвалять одного себя. Он в весьма развязной манере выражает готовность стать сотрудником журнала, будучи уверенным, что прославит своими сочинениями и себя и самого издателя, заставив умолкнуть всех других “писцов”. Его не смущает собственная малограмотность: “А ради того и поныне не знаю, где ставятся ѣ и е, і и и, где а! и а! и тому подобное, и где какие препинания, для чего вместо запятой, часто ставлю удивительную и вопросительную, а двоеточие при всяком слове...” Обращается этот самовлюблённый автор к издателю и с такими словами: “Позволение имети с вами переписку меня обрадовало, ибо вы, по изданию перьвого листа вашего журнала, мне весьма полюбились, а притом трутней я всегда любил” (Лист III).

Петрудно догадаться, почему этот персонаж проникся симпатией к издателю: ведь тот в предисловии признавался в своей лени, отчего могло показаться, что к “трутням” он относит и самого себя. И как следствие сей анонимный автор приводит “описание” собственной значимости, в котором, в частности, предстаёт выше всех современных писателей. На что воспоследовал ответ издателя: будучи самокритичным, он не потерпел бездарного хвастуна и потребовал, чтобы тот впредь не присылал своих сочинений. А полученное письмо публикуется потому, что запечатлевшийся в нём “характер достоин осмеяния и презрения” (Лист IV).

Известно, что в образе хвастливого писателя высмеивается реаль-

ное лицо – В.И. Лукин. Конечно же, письмо к издателю “Трутня” было написано не им и, если не самим Н.И. Новиковым, то одним из его корреспондентов, который хорошо уловил ориентацию на игровой характер сатиры в журнале. Приверженность к такого рода сатире проявляется в еженедельнике и далее – по преимуществу в письмах и материалах, присланных вымышленными корреспондентами. Наиболее ярко это обнаруживается в письме к издателю от его доброжелателя И. Прямикова, почувствовавшего в нём родную душу. “Вы ленивы, да и я не прилежен, – признаётся он, – а притом имею желание прослыть, буде не творцом, то по крайней мере издателем” (Лист VII). Вместе с письмом он присылает полученную им из деревни от приятеля “грамотку”, точнее – очерк о преступных проделках двух “ябедников”, братьев Вертяевых, который просит опубликовать.

В высшей степени любопытный момент! В лице своего доброжелательного читателя не лишённый юмора и весёлой хитринки издатель встречается, в сущности, с собственным зеркальным отражением, как бы со своим двойником. В письме к нему варьируются некоторые из ведущих мотивов авторского предисловия. Заданное в нём игровое начало, становясь одним из конструктивных принципов еженедельника, побуждает Новикова подыскивать новые способы осмеяния российской действительности, проявлять мастерство и находчивость в изображении комических типов.

Весьма перспективным становится раздел “Ведомости”, пародирующий официальную столичную газету. В нём печаталась информация, какой, конечно же, в официозе не было, но какую предпочёл бы обнаружить критически мыслящий читатель. Уже первое сообщение, помещённое в этом разделе, настораживало и вызывало негодующий смех. Говорилось о вакантной высокооплачиваемой должности, на которую претендуют трое – люди разного происхождения, заслуг и достоинств. Сообщение завершалось интригующим вопросом: “Читатель! угадай: глупость ли подкрепляемая родством с боярами или заслуги с добродетелью паградятся?” Читателю ясно: награждена будет глупость (Лист IV).

Игровой элемент присутствовал и в других сообщениях. В частности, комические обыгрывались значащие имена: помещику *Змяну*, проповедующему “тиранские” способы обращения с крепостными, противопоставлялся “благоразумный *Мицен*”, обходящийся с подвластными ему людьми иначе и потому не боящийся, что будет ими проклинаем. Или звучала горькая ирония: прибывшие из Франции шпаги, табакерки, кружева, ленты и тому подобные изделия назывались весьма нужными для россиян, тогда как идущие в обмен на них пенька, железо, юфть, сало, полотна – “домашними нашими безделицами”. А то вводилось уподобление, граничащее с гротеском: дворянский недоросль, прослышавший молодым “русским поросёнком”, побывав ради

просвещения в чужих землях, возвращается “уже совершенно свиньёю” (Лист VI).

Придерживаясь принятых правил игры, издатель “Трутня” извещал, что весь критический материал собирал не он, а его добровольный помощник: он лишь материал публикует, полагая, что это будет читателям небезынтересно.

С немалым сатирическим блеском подавались материалы под рубрикой “Рецепты”. Их вёл знаток душевных человеческих болезней, “г. издателя всепокорный слуга Лечитель”. Благодаря игровой установке “рецепты” не выглядели наивными и банальными, а превращались в остроумные миниатюры. Прежде чем выписать кому-либо рецепт, сатирик рисовал колоритный портрет “больного”. К примеру, вельможи *Недоума*, который свихнулся на мысли “о величии своей породы”, или помещика *Безрассуда*, больного мнением, будто “крестьяне не суть человеки”, а его крепостные рабы. Рецепты составлялись строго логически и с повышенной серьёзностью, скрывающей язвительную усмешку сатирика. Так, согласно предписанию Лечителя, “*Безрассуд* должен всякой день по два раза рассматривать кости господские и крестьянские до тех пор, покуда найдёт он различие между господином и крестьянином” (Лист XXIV).

Вслед за поставщиком “ведомостей” и Лечителем на страницах еженедельника демонстрировал свой дар остролова и насмешника ещё один вымышленный помощник издателя, названный “*Смеющимся Демокритом*”: он, подобно вездесущему репортёру, высматривал среди обитателей столичного города заслуживающих его внимания субъектов, чтобы вместе с читателями весело над ними посмеяться. Всё подавалось как бы в форме устных репортажей с мест событий, в которых умный и весёлый остролов рассказывал о тех или иных наблюдаемых им в данную минуту персонажах. Описываемая ситуация определяла стиль миниатюры, особенно её зачинов. Вот некоторые из них: “Ба! это тот в изорванном идёт лохмотье скупяга, который во весь свой век собирает деньги и расточает совесть...”; “Кажется, я вижу ему противоположника. Конечно, это *Мом?* так, он и есть...”; “Вот ещё кавалер, достойный смеха. Это *Надмен...*” Шаржированная характеристика каждого завершается раскатистым смехом: “Ха! ха! ха!” (Лист XXVIII).

Однако в “Трутне” встречаются публикации, как будто выпадающие из общего контекста и лишённые игрового элемента. К примеру, письмо Правдулюбова к издателю, в которых поддерживается напористость публикуемых в журнале сатирических произведений, и ведётся полемика на эту тему со “Всеякой всеячиной”.

Но это только первое впечатление. Известно, что под именем Правдулюбова выступал сам Новиков, хотя он и делал вид, что это не так. Мнимый издатель “Трутня” неоднократно пишет о нём в третьем лице, а однажды даже заявляет, что очередное письмо Правдулюбова печат-

таться не будет, поскольку в нём задевается “Всякая всячина”. Что это, если не особая форма той же литературной игры, которая становится одним из организующих начал в построении новиковского журнала?..

Характерно, что присущая Правдулюбову манера писать и изъясняться не выбивается из принятых в сатирическом еженедельнике стилистических норм. Она насквозь иронична и вбирает в себя разные способы осмеяния действительности. Вот выдержка из его первого письма к издателю: “Второй ваш листок написан не по правилам вашей прабабки. Я сам того мнения, что слабости человеческие сожаления достойны, однако ж не похвал, и никогда того не подумаю, чтоб на сей раз не покривила свою мыслью и душою госпожа ваша прабабка (...) Многие, слабой совести люди никогда не упоминают имя порока, не прибавив к оному человеколюбия. Они (...) порокам спили из человеколюбия кафтан, но таких людей человеколюбие приличнее назвать пороколюбием” и т.д. (Лист V). Чем этот “правдулюбовский” слог отличается от слога, скажем, заметок из разделов “Ведомости” и “Рецензты”? Здесь та же остроумная игра словами, использование броских метафорических уподоблений (спилить из человеколюбия кафтан для пороков), наличие вызывающих улыбку параллелей из повседневной жизни при объяснении значения слов “слабость” и “порок” и т.д.

Не менее органично вписываются в состав публикуемых в “Трутне” материалов письма других вымышленных корреспондентов, в частности, автора, обозначенного инициалами N.N. И это при всём том, что заданная форма этих произведений изначально исключает игровой элемент. В них рассказывается об удививших корреспондента событиях, увиденных им во сне (история червонца) или наяву (“истинная бль” о пропаже часов у судьи). Вторая история особенно впечатляет: судья решает, что часы у него были украдены крестьянином, поставившим ему “съестные припасы”, а не его племянником, тоже судебским чиновником (только эти оба посетили судью в тот день). Крестьянин под пыткой признаёт, что часы украл он. Однако на судебном заседании неожиданно выясняется: виновник пропажи племянник судьи. Ещё более удивительным было решение суда: “вора племянника, яко благородного человека, наказать дяде келейно, а подрядчику при выпуске объявить, что побои ему впредь зачтены будут” (Лист XIII). Как видим, судебное разбирательство обернулось бесстыдным и бесчестным спектаклем, и для того чтобы он не выбивался из ряда других комических миниатюр, не потребовалось прибегать к специальным “игровым” ухищрениям.

Однако в “Трутне” было представлено произведение, которое – совершенно очевидно – сатирическим не является. Это “Отписки крестьянские и помещичий указ ко крестьянам” (его окончательное название). Естественно, слог и тональность “отписок” были совсем иными. В одной из них читаем: “Бьёт челом и плачется сирота твой Филатка.

По указу твоему господскому, я, сирота твой, на сходке высечен, и клети мои проданы за бесценок, также и корова, а деньги взяты в оброк, и с меня староста правит остальных; только мне взять нигде..." Слог здесь разговорно-простонародный, а интонация – умоляюще-просительная. Что же до помещичьего указа, то он выдержан в бездушной, повелительно-приказной манере. Так, относительно Филатки в указе сказано: "По просьбе крестьян у Филатки корову оставить, а взыскать за неё деньги с них, а чтобы они и впредь таким ленивцам потачки не делали, то купить Филатке лошадь на мирские деньги, а Филатке объявить, чтобы он впредь пустыми своими челобитными не утруждал и платил бы оброк без всяких оговорок и бездоимочно" (Лист XXX).

Появление этого произведения в еженедельнике не нарушало стилистического единства. Саморазоблачительный и неумеренно-грабительский помещичий указ в действии был сродни человеконенавистническому притязаниям Безрассуда. Публикация "Отписок крестьянских" явилась острой сатирой на тех, кто живёт за счёт ограбления народа, да ещё позволяет себе издеваться над ним.

Перечитывая "Трутень" за 1769 год, снова и снова убеждаешься в том, что его издатель предстаёт словно в двух ипостасях. С одной стороны, это простодушный, но не лишённый скрытого лукавства литератор-ленивец, которому доставляет удовольствие публиковать "чужие груды" – соответствующие его весёлому нраву комические миниатюры. С другой, это и реальный, исторический Новиков, ненавязчиво направляющий работу своего издания и сам нередко выступающий в журнале под разными псевдонимами. Примечательно, что в "Трутне" нет ни одной публикации, подписанной непосредственно Новиковым. Более того, просветитель нигде не ставит знака равенства между собою и издателем еженедельника, что особенно ясно видно из сочинения "Разговор: Я и Трутень", помещённого в одном из последних выпусков за 1769 год.

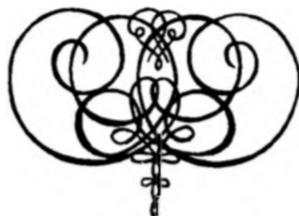
В "Разговоре..." от первого лица открыто говорит сам Новиков: его точка зрения равнозначна "правдулюбовской". Поскольку читателю давно понятно, что под именем Правдулюбова скрывается подлинный издатель, тот наконец посчитал возможным подать открыто и свой собственный голос. *Трутень* же в этом диалоге передает видение мира, свойственное мнению издателя журнала. По вопросу, с какой целью выпускается еженедельник, *Трутень* и Новиков (*Я*) не находят взаимопонимания. Первый намеревается приносить согражданам "пользу и увеселение" и заслужить благоволение знатных господ, говоря им правду и показывая их "слабости" ради их исправления. Второй же уверен, что благоволения и покровительства знатных можно добиться, только угождая и льстя им, а слово правды вызывает в них лишь ненависть и злобу.

Таким образом, издавая "Трутень" как бы от имени подставного ли-

ца, что становится очевидным не сразу, Новиков зачастую при подборе материала и способов его подачи прибегает к приёмам литературной игры. Перед читателем предстаёт результат сотрудничества многого издателя и его вымышленных помощников и корреспондентов. Творческий замысел реализуется благодаря использованию выразительных свойств языка. Это проявляется, в частности, в том, что речь едва ли не каждого персонажа стилистически варьируется и обретает внутреннюю упорядоченность. Населяющие журнал разнообразные словесные маски делают его очень занимательным, остроумным и интересным для многих читателей. Однако занятая форма издания не умаляла его серьёзного общественного содержания, повлиявшего на умы размышляющих сограждан. Из всего сказанного также следует, что опорными, главенствующими в журнале явились произведения самого Новикова. Именно он был единоличным творцом задуманного и выпускаемого им издания. Это обстоятельство вынуждает по-новому взглянуть на спорный вопрос об авторстве просветителя, но эта тема выходит за рамки данной статьи.

Иваново





Приёмы изображения в повести Н.В. Гоголя “Невский проспект”

Б. И. МАТВЕЕВ

В арсенале изобразительных средств Гоголя приём контраста весьма значим. Он используется в композиции произведений, их языке и стиле, при характеристике персонажей. “Истинный эффект, – писал Гоголь в статье об архитектуре, – заключён в резкой противоположности; красота никогда не бывает так ярка и видна, как в контрасте. Контраст тогда только бывает дурён, когда располагается грубым вкусом или, лучше сказать, совершенным отсутствием вкуса, но, находясь во власти тонкого, высокого вкуса, он первое условие всего и действует ровно на всех” (Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1952. Т. VIII. С. 64; далее – только том и стр.).

Уже “Вечера на хуторе близ Диканьки” представляют собой своеобразное соединение различных контрастных начал: реального и идеального, истории и современности, смешного и грустного. Использование приёма контраста покажем на примере повести “Невский проспект”. Наличие рукописного текста позволяет заглянуть в творческую лабораторию писателя, проследить, в частности, как в процессе доработки произведения он усиливал контрастное сопоставление характеров персонажей, повышал экспрессивность стиля.

Пушкин назвал “Невский проспект” “самым полным” из произведений Гоголя, появившихся до “Ревизора”, имея в виду ту широту, с которой отражена в повести действительность. “Невский проспект” – это две любовные истории (художника Пискарёва и поручика Пирогова), связанные с главной улицей Петербурга. Характеры персонажей резко противоположны.

Пискарёв беден, скромн. в обществе занимает незначительное место. Его не привлекает ни служебное преуспевание, ни богатство. Человек чистой и благородной души, он всецело погружён в своё искусство и творчество, страстно влюблён в красоту. Она для него – высшая цен-

ность. В человеческой личности красота, по мысли художника, неотделима от внутренней чистоты и благородства. Однако жестокая правда жизни разбивает его мечты о счастье, любви, гармоничном устройстве мира. Трагически переживая разлад мечты с действительностью, он кончает жизнь самоубийством.

Совершенно другой характер у поручика Пирогова. Это пустой, ничтожный человек, объятый жаждой “возвышения”, погружённый в заботы о карьере. Для Пирогова чин превыше всего: определяя место в обществе, он является источником благ земных. Не случайно и предполагаемый успех в романтическом приключении он связывал со своим чином. Но, потерпев неудачу, высеченный ревнивым мужем, поручик перенёс оскорбление достоинства на редкость спокойно. Только в первые минуты после “секуции” у него появилось желание пожаловаться чуть ли не “самому государю”, но потом он смирился с происшедшим и, пройдя по Невскому, отправился к знакомому чиновнику, где очень весело провёл вечер.

Принцип контрастности получил отражение и в языке повести. Рассказ о Пискарёве ведётся в романтическом, приподнятом тоне; о Пирогове – в ироническом.

Приподнятость, напряжённость авторского повествования, передающего трагические переживания Пискарёва, находят своё выражение в самой структуре речи, характеризующейся широким использованием синтаксического параллелизма, анафоры, построением отдельных предложений и целых периодов по принципу градации – внутреннего возрастания драматизма описываемого. Вот, например, как с помощью приёма градации Гоголь рисует смятение чувств Пискарёва от взгляда, брошенного на него незнакомкой:

“Тротуар нёсся под ним, кареты со скачущими лопадъми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестяла, казалось, на самой реснице его глаз. И всё это произвёл один взгляд, один поворот хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, он нёсся по лёгким следам прекрасных ножек, стараясь сам умерить быстроту своего шага, летевшего под такт сердца” (III, 19).

Ср. приём единоначатия – анафоры:

“Я бы не отходил от холста, я бы вечно глядел на тебя и целовал бы тебя. Я бы жил и дышал тобою, как прекраснейшей мечтою, и я бы был тогда счастлив. (...) Я бы призывал тебя, как ангела-хранителя, пред сном и бдением, и тебя бы ждал я, когда бы случилось изобразить божественное и святое” (III, 29–30).

Выполненный в романтической манере портрет незнакомки, пленившей Пискарёва, контрастирует с реалистической зарисов-

кой другой женщины – той, которой был очарован поручик Пирогов:

“Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестьнейший лоб осенён был прекрасными, как агат, волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть их, падая из-под шляпки, касалась щеки, тронутой тонким свежим румянцем, проступившим от вечернего холода. Уста были замкнуты целым роем прекраснейших грёз. Всё, что остаётся от воспоминания о детстве, что даёт мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, – всё это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в её гармонических устах” (III, 18).

“Эта блондинка была лёгенькое, довольно интересное создание. Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окна кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад” (III, 34).

В описании “погони” Пирогова за блондинкой совершенно иной строй речи, чем в рассказе о Пискарёве. Разговорная лексика здесь служит целям иронического освещения действующих лиц. Легкомысленность и пустота блондинки великолепно раскрываются глаголами: *вертелась, глазела, останавливалась* (перед каждым магазином), *оглядывалась*.

Окончательная редакция повести существенно отличается от рукописи. В первоначальный текст Гоголь внёс ряд добавлений, углубивших характеры персонажей и более детально показавших обстановку их жизни. Так, в рукописи нет описания общества, к которому принадлежал Пирогов, а сразу говорится о “талантах поручика, собственно ему принадлежащих”. Но характер в понимании Гоголя не есть нечто раз и навсегда данное, статичное: он формируется под влиянием определённых условий. Поэтому для раскрытия типичности образа Пирогова Гоголю необходимо было показать среду, которая порождает подобных людей. Описание общества, где проводил время Пирогов, находилось в полном соответствии с рассказом о классе людей, к которым принадлежал художник Пискарёв. Таким образом, дополнительные сведения о поручике подчёркивали не только его типичность, но и полярность в сравнении с художником.

Иную художественную функцию выполняет вставка о картине, заказанной персиянином Пискарёву:

“– Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая была красавица! чтобы брови были чёрные и очи большие, как маслины; а я сама чтобы лежала возле нее и курила трубку! слышишь? чтобы хорошая была! чтобы была красавица!” (III, 29).

Вульгарный сюжет этой картины, как и сам персиянин, оттеняют душевные страдания художника, разлад мечты и действительности. Упоминание же о том, что Пискарёв курил опиум, мотивирует его бо-

лезненное состояние и характер сновидений.

Иногда внесением ряда бытовых подробностей писатель буквально преобразует повествование, делая его более ярким, зримым. Приведём только один пример – зарисовку мастерской Шульца.

В рукописи:

“Пирогов смело вобрался в комнату. Эта большая комната с чёрными [стенами], закопчённым потолком. Куча слесарных инструментов лежала на столе и на полу” (III, 368).

В окончательной редакции:

“Он увидел себя в большой комнате с чёрными стенами, с закопчённым потолком. Куча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе; пол был засорен медными и железными опилками” (III, 36–37).

Наибольшей правке подверглись эпизоды, связанные с посещением Пискарёвым незнакомки и с его снами. В этом случае Гоголь сжимал первоначальный текст, делая его более динамичным и драматичным.

В рукописи:

“Тот приют, где человек святотатственно подавил всё чистое и посмеялся над всем свят(ым), скрашивающим мир, где женщина, эта красавица мира, обратилась в какое-то странное двусмысленное существо, где она – картина, правильно написанная и лишённая внутренней поэзии, где она лишилась всего женского вместе с чистотою души и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем грациозным, тем так отличным от нас существом. Картина (написанная) правильно, но лишённая поэзии. Палитрин мерил её с ног до головы выпученными от удивления глазами” (III, 353–354).

В окончательной редакции:

“Тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом. Пискарёв мерил её с ног до головы изумлёнными глазами...” (III, 21).

Как видим, здесь не только изменена значимая фамилия героя *Палитрин* на *Пискарёв*, но и устранено сравнение женщины с картиной, лишённой поэзии, найден предельно точный эпитет к слову *глаза*.

Чрезвычайно важной для понимания Пискарёвым красоты как высшей ценности мира и её несовместимости с развратом, а равным образом для характеристики природных задатков незнакомки представляется другая правка.

В рукописи:

“В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата. Пусть он навеки остаётся с безобразием; если безобразие погружается в (него), мы не жалеем, хотя должны бы жалеть по чувству человечества. Но красота нежная, нам кажется, должна быть каким-то божеством непорочности и чистоты. (Черты лица этой) красавицы, так околдовавшей нашего бедного мечтателя, были действительно чудесны, появление её в этом презренном кругу ещё более казалось чудесным. Черты лица её были так чисты, так образованно всё выражение прекрасного лица её, которое означено (было) каким-то прекр(асным) благородств(ом), что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат уже распустил над нею страшные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, всё богатство страстного супруга; она была бы тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале на зеркальном паркете при блеске свечей, при безмолвной благоговейной толпе поверженных поклонников. Но, увы, она была какою(то) ужасною волею злого духа, смеющегося над всем святым и прекрасным, жаждущего везде рассеять гармонию мира и произвести расстройство естества, она была волею этого злого духа с хохотом брошена в эту страшную пучину” (III, 354–355).

В окончательной редакции:

“В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата. Пусть бы ещё безобразие дружилось с ним, но красота, красота нежная... она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях. Красавица, так околдовавшая бедного Пискарёва, была, действительно, чудесное, необыкновенное явление. Её пребывание в этом презренном кругу ещё более казалось необыкновенным. Все черты её были так чисто образованы, всё выражение прекрасного лица её было означено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, всё богатство страстного супруга; она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног её поклонников; – но, увы! она была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину” (III. 22).

Текст окончательной редакции сокращён. Период с анафорами (“Она бы составила...”), несущий большую смысловую нагрузку, яркий и выразительный по своему звучанию, полностью сохранён. Заменены только эпитеты к существительным *паркети* и *поклонники*. Синтаксис

последнего предложения упрощён, оно присоединено к периоду с анафорами, так как неразрывно связано с ним по смыслу. Мысль об органическом единстве красоты с непорочностью, о высоком предназначении женщины приобрела большую силу.

В сцене сна художника Гоголь уточняет некоторые эпитеты и бытовые подробности, совершенствует синтаксис предложений. Вместо *ужасной* пестроты появляется *необычайная, ослепительные* плечи превращаются в *сверкающие, страшное* замешательство – в *совершенное*. В первое предложение вводятся однородные члены (*без смысла, без толку*), и это усиливает его созвучность с последующими предложениями, построены по принципу синтаксического параллелизма. Во втором предложении писатель заменяет глагол *искромсал* глаголом *искрошил*. Семантика глагола *искромсать* (“изрезать небрежно, как попало”, перен. “испортить”) не вполне соответствовала чинной, чопорной картине бала. Глагол *искрошить* (“раздробить на мелкие части”) больше отвечал психологическому состоянию Пискарёва и увиденному им на балу. Растерянность художника, неожиданно для себя попавшего в светское общество, прекрасно передаётся предложением с однородными членами и обобщающим словом. Дальнейшие синтаксические повторы подчёркивают состояние героя и авторское (ироническое) отношение к этому. Уточняются некоторые детали обстановки. В рукописи: *из-за перил хоров выглядывал смычок контрабаса*, а в окончательной редакции: *сам контрабас*, что скорее могло броситься в глаза Пискарёву. Стариков и полустариков он видит *с звёздами на фраках*, а не *на груди*, слышит английские и французские слова. Ср. в рукописи:

“Ужасная пестрота привела его в страшное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искромсал весь мир на множество разных кусков и все эти куски без толку смешал вместе. Ослепительные дамские плечи и чёрные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы и эфирные ленты, толстый смычок контрабаса, выглядывавший из-за перил великолепных хоров. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков с звёздами на груди, дам так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету и сидевших рядами, что растерялся совершенно. И в самом деле, молодые люди в чёрных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстук... Там так (дамы) были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так умели очаровательно улыбаться, но нечего говорить более, всё клонилось к тому, чтобы совершенно...” (III, 357).

В окончательной редакции:

“Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смесал вместе. Сверкающие дамские плечи и чёрные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные ленты и толстый контрабас, выглядывавший из-за перил великолепных хоров, — всё было для него блистательно. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков с звёздами на фраках, дам, так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету или сидевших рядами, он услышал столько слов французских и английских, к тому же молодые люди в чёрных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстух, дамы так были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так очаровательно потупляли глаза, что... но один уже смиренный вид Пискарёва, прислонившегося с боязнию к колонне, показывал, что он растерялся вовсе” (III, 23–24).

Необычайно поэтичен образ незнакомки. Для его создания писатель прибегает к звукописи и цветописи. В сцене бала незнакомка предстаёт перед взором художника в сопровождении музыки (в вихре вальса). Но музыка не только сопровождает её, она составляет её суть. Такой характеристике соответствует подбор определённых звуков в словесном портрете героини, прежде всего сонорных *л* и *р*. Белый цвет символизирует нравственную чистоту женщины.

Гоголь не сразу добился предельной выразительности этого образа, его музыкального звучания и красочного изображения. Это видно из сравнения двух редакций. Отсутствие промежуточных редакций не позволяет, к сожалению, более детально проследить работу над текстом.

В рукописи:

“Она и глядела и не глядела на толпу плясавших и зрителей, прекрасные длинные ресницы опустились и чистая белизна лица ещё ослепительнее бросилась в глаза, особливо когда при наклоне головы её легкая тень осенила очаровательный лоб... Танец длился долго. О, как нетерпеливо он ожидал, утомлённая (музыка), казалось, вовсе погасла и замирала и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец, танец кончился. Она села, усталая грудь её вздымалась под тонким дымом газа; рука её (боже, какая рука!) упала на колени, измявши под собою её воздушное платье, и платье под нею, казалось, стало дышать, отделка и тонкий сиреневый цвет его ещё прелестнее означал эту божественную форм(у) этой прекрасной руки” (III, 357–358).

В окончательной редакции:

“Она и глядела и не глядела на обступившую толпу зрителей, прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно, и сверкающая бе-

лизна лица её ещё ослепительнее бросилась в глаза, когда лёгкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб её. (...) Танец длился долго; угмлённая музыка, казалось, вовсе погасла и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец – конец! Она села. грудь её воздымалась под тонким дымом газа; рука её (создатель, какая чудесная рука!) упала на колени, сжала под собою её воздушное платье, и платье под нею, казалось, стало дышать музыкою, и тонкий сиреневый цвет его ещё виднее означил яркую белизну этой прекрасной руки” (III, 24–25).

В окончательной редакции к существительному *белизна* подобран эпитет *сверкающий*, созвучный с другими словами в предложении: *зрители, прекрасные ресницы, бросилась, очаровательный* и др. Синтаксис предложения стал более простым.

В картине завершения танцев писатель достигает необычайной экспрессии, обнажая семантику однокоренных слов, стёршуюся от частого употребления. Вместо первоначального: *наконец, танец кончился* появляется выразительное: *наконец – конец!* Сократив рукописный текст, Гоголь усилил поэтическое звучание и цветовую окраску образа: *дым газа, воздушное платье, которое, казалось, дышит музыкой, тонкий сиреневый цвет, оттеняющий белизну руки.*

Трагическая и комическая история двух героев обрамлена в повести картиной Невского проспекта. Начало и финал произведения контрастны. “Невский проспект” открывается изображением парадного, “блистательного” Петербурга, а заканчивается обнажением лжи, фальши этой парадности.

В рукописной редакции описания Невского проспекта более пространны, объёмны. В окончательной редакции текст сокращён, в частности, освобождён от излишней конкретизации уличных сцен. Так, в рукописи было:

“Вы, думаете, что этот господин очень богат, который идёт в красиво сшитом сюртучке? Ничуть не бывало. Он весь состоит из своего сюртучка и всегда ожидает несколько часов дома, покамест стирается его белье, потому что второй переменной он не обзавёлся ещё...” (III, 378).

В окончательной редакции сказано короче, но не менее выразительно:

“Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка” (III, 45).

Или ещё один пример сжатия текста. Рукописная редакция:

“Воображаете, что эти дамы говорят об очень, очень смешном? Совсем нет: они для того шевелят губами с приятной улыбкою, что уверены во всей грациозности такого положения” (III, 378).

Окончательная редакция:

“Вы думаете, что эти дамы... но дамам меньше всего верьте” (III, 46).

Контраст между видимостью и сущностью, фальшь Невского проспекта особенно подчёркнуты в конце повести, подвергшейся доработке. Сравним две редакции:

“Он опасен необыкновенно, этот Невский проспект; опасен для кармана, для сердца, для всего: он во всякое время лжёт, обольщает, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массой наляжет и отделит белые и палевые стены домов. Но огни сделают его почти транспарантом, когда весь город превратился в гром и блеск, когда мириады карет валяются с мостов, мелькая фонарями; форейторы кричат и прыгают на лошадях. И когда сам демон зажигает ярко лампы для того, чтобы всё показать не в настоящем виде” (III, 378–379).

В окончательной редакции:

“Он лжёт во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валяются с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде” (III, 46).

Даже выборочное сопоставление редакций показывает, как требователен был Гоголь к слову, как упорно он работал над стилем своих произведений, добываясь предельной точности и яркости повествования.

“Петербургские” повести Гоголя, в том числе “Невский проспект”, оказали большое влияние на последующее развитие русской литературы. Так, известное стихотворение А. Блока “Незнакомка” построено по принципу контраста пошлости обывательского быта с романтическими видениями поэта, в незнакомке есть черты героини повести Гоголя. Трагическая история художника Пискарёва, несомненно, оказала влияние на автора “Белых ночей”, “Неточки Незвановой”, “Петербургских сновидений”. Излюбленные изобразительные средства Гоголя (контраст, звукопись, цветонись и др.) широко использовались в стихах и прозе А. Белого.



Семантика вещи

у

В. Хлебникова и М. Цветаевой

Ю. В. ЯВИНСКАЯ

В своё время В.В. Виноградов отметил, что «в структуре литературно-художественного произведения острые экспрессивно-образные функции могут выпасть даже на долю семантически нейтральных, совсем безобразных, местоимённых слов (например, слова “человек”» (Виноградов В.В. *Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика*. М., 1963. С. 125). Таким, на первый взгляд, безобразным словом в идиостилях В. Хлебникова и М. Цветаевой является слово *вещь*.

Судя по количеству употреблений в текстах обоих поэтов, слово *вещь* нельзя назвать частотным: например, в сборнике Велимира Хлебникова “Творения” (составители В.П. Григорьев и А.Е. Парнис. М., 1986) оно встречается в 20 случаях, что составляет примерно 0,03% от общего объёма словоупотреблений, а в первых трёх томах семитомного собрания сочинений Марины Цветаевой (составители А. Саакянц и Л. Мнухин. М., 1994), где собраны стихотворения и поэмы, слово *вещь* употребляется 51 раз (примерно 0,04%). Тем не менее это слово у Хлебникова и Цветаевой получает особую тематическую нагрузку, обозначенную в литературной традиции как “жизнь вещей”: «Показ этой “скрытой” жизни вещей в самой специфической её форме, возвращающей к “человеческому” (взгляд вещи на человека, суд, вершимый вещами над человеком), в известной мере аналогичен сходным опытам проникновения во внутреннюю скрытую жизнь животных – от Холстомера до Каштанки» (Топоров В.Н. *Вещь в антропоцентрической перспективе* // *Аеқіпoх. МСМХСШ*. М., 1993. С. 97).

В поэме Хлебникова “Журавль” (1909) ожившие “вещи” – части городского пейзажа – складываются в живую железную птицу, пожирающую людей. У Цветаевой в “Поэме Лестницы” (1926) “бунт” вещей определяется их стремлением вернуться в своё природное состояние (так стекло стремится стать песком, матрас – водородом и т.п.) и сопровождается идеей “мести” человеку за то, что он превратил планету “в предметов бездарный лом”. В некоторых стихотворениях Хлебнико-

ва и Цветаевой слово *вещь* характеризует образ человека, получая различные “экспрессивно-образные функции”.

Понятию и лексеме *вещь* присуща “лёгкость перехода значения от предмета чувственного восприятия, конкретного по преимуществу, через философское значение, положенное в основу описания картины мира, к функции неопределённого местоимения *нечто*, от которого – уже небольшой шаг к *ничто*” (Цивьян Т.В. Вещи из чемодана Сергея Довлатова и бывшая (?) советская модель мира // *Russian Literature*. 1995. № 37. С. 648; далее – Цивьян и стр.). Рассмотрим слово *вещь* в первом значении – как предмет чувственного восприятия, материальный объект, созданный человеком или имеющий непосредственное отношение к человеку, которому в литературе, как правило, приписывается способность ходить, думать, говорить и даже “бунтовать”.

В текстах Хлебникова слово *вещь* реализует такой “социальный” аспект своего существования: “Злей не был и Кощей./Чем будет, может быть, восстание вещей” (Хлебников Велимир. Творения. М., 1986. С. 190; далее – Т. и стр.). Прямое сравнение персонажа с *вещью* у него оценивается не в пользу первого: “Слуги с злорадством в взоре блещут./Несут её не бережней, чем вещи” (Хлебников В. Собр. произведений: В 5 т. Л., 1928. Т. 1. С. 73; далее – СП, том и стр.). А улицам города свойственно “(…) грязное желание иметь человека, как вещь, на своём умывальнике...” (Т, 595). Но несмотря на это кажущееся серьёзным противостояние образов *человека* и *вещи*, встречаются конструкции, где эти слова объединяются с помощью союза “и”. Например персонажи (“сёстры молнии”) говорят о себе: “Мы равенство миров, единый знаменатель./Мы ведь единство людей и вещей” (СП, 3.170; здесь и далее курсив наш. – Ю.Я.). Или конструкция с однородными членами при описании стенового пейзажа: “Одинокий верблюд <...> спесиво смотрел на это собрание воинов, вещей, волов в дикой зелёной стране...” (Т, 436).

Вещь у Хлебникова может обладать запахом, но это запах “числа” – важного для поэта понятия, с помощью которого он искал “основной закон времени”: “Запах вещей числовой/Между деревьев стоит” (СП, 3.78). Со словом *вещь* согласуются и цветовые определения, благодаря чему местоимённая функция слова получает реальное содержание: “Были вещи слишком сини/Были волны – холодный гроб” (СП, 2, 31) – речь идёт о волнах; “Осени скрипки зловещи./Когда золотятся зелёные вещи” (Т, 334) – о листьях деревьев; “Сегодня вещи/Нежны и вещи;/Неженки-беженки/ В небе плывут” (СП, 5, 75) – об облаках, плывущих по небу. В этих образах прослеживается отношение Хлебникова к миру, который состоит из разных “вещей”, и для которого неважно, является ли эта “вещь” частью природы или сделана человеком, или сама есть “человек”: “До сей поры не знаем, кто мы – / Святое Я, рука иль вещь” (Т, 443).

В предикативных конструкциях слово *вещь* у Хлебникова выступает объектом человеческих действий, носящих не предметный, а ментальный характер: “Правда ли, что тебя земная явь томила? / Правда ли, что ты *узнать* хотела вещи?” (СП, 2, 68); “Я *проклял* вещь, / Священ и вещь./Ей быть полезною рабыней./А не жестокою богиней” (Хлебников Велимир. Неизданные произведения. М., 1940. С. 205). Как субъект действия слово *вещь* вступает в связи с глаголами состояния и отношения: “Из мешка / На пол *рассыпались* вещи” (Т,44); “Вещи *приблизились* к краю, / А самые чуткие / *Горят* предвидением” (СП,3,93–94).

Отмеченные связи слова *вещь* в предложении и словосочетании свидетельствуют, во-первых, о *ровных* отношениях человека и *вещи* у Хлебникова (несмотря на сюжет восстания вещей в “Журавле”). Связь этих образов с помощью союзов “и/или”, глагольные функции состояния и отношения у предикатов к слову *вещь*, активные познательные (ментальные) действия человека по отношению к *вещи*, – всё это подтверждает замечание Ю.Н. Тынянова о том, что Хлебников подходит к вещам “вплотную и вровень” (СП,1,29).

Во-вторых, подтверждается ещё один факт, отмеченный Ю.Н. Тыняновым: «Для него нет замызганных в поэзии вещей (начиная с “рубля” и кончая “природой”), у него нет вещей “вообще”, – у него есть частная вещь» (Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. Статьи. М., 1965. С. 297). Действительно, “вещами” у Хлебникова являются и облака, и листья деревьев, и волны моря, и каждая из этих “вещей” обладает формой, цветом, отличается от других, кроме того, в употреблении слова *вещь* преобладают формы множественного числа (14 из 20).

Для Цветаевой в образе *вещи* важно её равенство “самой себе”, то есть её определённый, отличный от природы человека, статус; поступать с человеком, как с *вещью* – недопустимо: “Безбожно! Бесчеловечно!/Бро-сать, как вещь./Меня, ни единой вещи/Не чтившей в сём/ Вещественном мире думом!” (Цветаева Марина. Собр. соч.: В 7 т. М., 1994. Т. 3. С. 41; далее – том и стр.). Конфликт понятий *вещь* и *нищ* (*нищета*) является основным “нервным узлом” “Поэмы Лестницы”: “{...} Вещь и бедность – явная свара./И не то спáрит язык! / Пономарь – что ему слово? / *Вещь* и *нищ*. Связь? нет, разлад. / Нагота ищет покрова, / Оттого так часто горят/ Чердаки...” (3, 130; курсив автора. – Ю.Я.).

Если для Хлебникова важен “запах числа” вещи, то для Цветаевой важен её “запах сущности (сути)”: “Не сущность вещей, – /Вещественность сути: / Букет её – всей! / Есть запахи – хлещут! / Не сущность вещей: / Существенность вещи” (3,58). Определение *сущности вещи* означает интерес к “вещи вообще” – в текстах Цветаевой преобладают формы единственного числа слова *вещь* (34 из 51), а сравнения *вещи* с явлениями окружающего мира в основном касаются образа человека: “Вещь как женщина нам поверила! / Видно, мало нам было дерева...” (3, 125).

Взаимодействие *вещи с человеком* носит конфликтный, взрывоопасный характер, поэтому действия *вещи* выражаются глаголами с активной семантикой, заимствованной от физических действий человека: «Ровно в срок подгниют перильца. / Нет – “нечаянно застрелился”. / Огнестрельная воля бдит. / Есть – намеренно был убит / Вещью, в негодовании стойкой» (3, 127). Предикацию сопровождают риторические вопросы, свидетельствующие о поиске определения слова *вещь* в её связи с *человеком*: “Вещи бедных. Разве рогожа – / Вещь? И вещь – эта доска? / Вещи бедных – кости да кожа. / Вовсе – мяса, только тоска” (3, 127).

Такие связи слова *вещь* в текстах Цветаевой свидетельствуют об объективном логически мотивированном восприятии этого образа. “Мир вещей” в понимании Цветаевой, в отличие от хлебниковского, – это отдельная от человека сфера, изначально враждебная ему. Исключение делается лишь для “вещей бедных”, ценность которых определяется как бы меньшим количеством материальности. Это уже не “вещи”, а “души”. Цветасва, в отличие от Хлебникова, “вплотную” к вещам не подходит, она анализирует их сущность “издалека, изглубока” и, как заметил С.С. Аверинцев, превращает свою “чуждость вещам в специально заявленную тьму” (Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996. С. 214).

Словам, входящим в семантическое поле “вещь”, свойственно участие в “операции собирания/каталогизирования” (Цивьян, 648), то есть в создании перечней предметов – перечислении слов с семантикой различных инструментов, орудий, зданий, бытовых предметов и т.д. В стихах и заметках Хлебникова такие “перечни вещей” немногочисленны, например, при описании живописного полотна: “Подруга, ступка, стрелкоза, / Лепёшки мяты и сырок, / И чайник вместо самовара, / Небрежных к утвари урок, / В углу пивных сосудов пара” (Хлебников Велимир. Неизданные произведения. С. 240). Для него как создателя “звёздного языка” важен в слове начальный согласный, поэтому “список предметов” может строиться по принципу наличия такого согласного: “{...} Далее именем М начаты имена вещей, делящих другие на части: *молот, мотыга, мельница, {...} мол, делящий море, мост, делящий реку...*” (СП, 5, 204–205). В таких связях по сходству слова с семантикой “вещь (материальный объект)” объединяются на равных со словами, обозначающими объекты природного мира и мира человека, что нередко приводит к курьёзам, например, в перечень “малоподвижных вещей” попадает “кот” как “привыкающий к месту”. Такое объединение слов (и обозначенных ими объектов) подтверждает невнимание Хлебникова к онтологической (родовой) принадлежности *вещи* к тому или иному классу.

У Цветасвой в “перечнях вещей” важна прежде всего *функция* вещи – то, для чего она служит и насколько она нужна человеку. И посколь-

ку *вещи* в поэтическом мире Цветаевой чаще всего человеку противостоят, их перечисление носит экспрессивный (иронический) характер. Это достигается прежде всего за счёт намеренного увеличения форм множественного числа существительных со значением ненужности, ущербности – “фатальной фальши”: “{...} Нельзя ли дальше, / Душа? Хотя бы в фонарный сток / От этой фатальной фальши: / *Панпильоток, пелёнок, / Щипцов калёных, / Волос палёных, / Чепцов, клеёнок, / О-деко-лонов / Семейных, швейных / Счастий (klein wenig!) / Взят ли кофейник? / Сушек, подушек, матрон, нянь, / Душиности бонн, бань”* (2, 231).

Негативная оценка отсутствует только при перечислении *вещей бедных*, которые появляются по случаю или в крайней необходимости: “Полка? случай. Вешалка? случай. / Случай тоже – этот фантом / Кресла” (3, 128). Таким образом, создание перечней у Цветаевой контролируется необходимостью – “понятием, {...} вызывающим оценку *лишний*, то есть чрезмерный, а потому *ненужный*, притом не столько в реальном, сколько в нравственном плане” (Цивьян, 648). Такое отношение к *вещи* подтверждала и сама Цветаева в письме к М. Волошину от 7 ноября 1921 года: “Всё, что не необходимо – лишне. Так я к вещам и к людям” (Цветаева Марина. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 447).

Выделенные различия в отношении к слову и семантическому полю “*вещь*” в *идиостилиях* Хлебникова (“вплотную и вровень”) и Цветаевой (“чуждость”) так же, как и у других поэтов, можно рассматривать в проекции отношения к *вещи* быта в их реальной жизни: “Тот поэт, который относится к слову, стиху, как к *вещи*, назначение и употребление которой ему давно известно (а стало быть, слегка надоело), отнесётся к *вещи* быта как к безнадежно старой знакомке, как бы нова вещь ни была” (Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. С. 297).

Известно, что Цветаева в вещах «превыше всего ценила прочность, испытанную временем: не признавала хрупкого, мнущегося, рвущегося, крошащегося, уязвимого, одним словом – “изящного»» (Эфрон А.С. О Марине Цветаевой. М., 1989. С. 35). У Хлебникова же, поэта-странника, как известно, собственного дома (не считая родительского) и *вещей* никогда не было. Тем неожиданней звучат его строки: “Образа кража – / Быт обокрал моё творчество” (СП, 5, 116).

“...Взять и додумать до самого конца”

О рассказе Виктории Токаревой “Кошка на дороге”

*Л.Б. САВЕИКОВА,
кандидат филологических наук*

Размышляя о счастье, герой чеховского рассказа “Крыжовник” произносит такую фразу: “Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясётся беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других”. “Кто-нибудь с молоточком” – это совесть, которая не позволяет человеку чувствовать себя хорошо, когда кому-то рядом плохо, не даёт существовать, отгородившись от мира, не прислушиваясь к чужим страданиям, не задумываясь о проблемах других.

Мысль о том, как надо жить в обществе, часто посещает чеховских героев. Ещё чаще писатель показывает, как нельзя жить, чтобы не погубить в себе человека. Яркие примеры – образы Рагина из “Палаты № 6”, Алексея Лаптева из повести “Три года”, Ионыча из одноимённого рассказа.

В современной русской литературе чеховские традиции продолжает В.С. Токарева. Вопросы о том, как надо и как нельзя жить, пожалуй, главные для неё. Конечно, это не значит, что автор выступает в роли морализатора. В рассказах и повестях писательницы нет и намёка на поучение. Но она обладает удивительным даром: убеждать, что описанное – не придуманная история о незнакомом человеке и даже не рассказ о хорошо знакомом, который вызывает интерес, а возможно, и сочувствие, – всё это о нём самом, о читателе. При этом неважно, мужчина перед нами или женщина, старушка или подросток. Читатель знает: всё, о чём рассказано – о нём самом, и потому он не может не мыслить и не выбирать вместе с автором и его героями верную жизненную дорогу.

Какими путями достигается интимизация произведения и одновременно повышается его воздействующая сила? В арсенале авторских средств можно обнаружить следующие: 1) обращение к национально-

му менталитету, культурным корням русского народа; 2) “игра стиля-ми” (термин Л.В. Щербы), то есть столкновение языковых средств различной функционально-стилевой направленности; 3) выстраивание тематических рядов слов; 4) переплетение разных форм чужой речи, употребление “двуголосых” слов (термин М.М. Бахтина); 5) использование стилистического приёма повтора; 6) введение в текст ключевых слов.

В качестве примера рассмотрим рассказ Токаревой “Копка на дороге”.

Фабула произведения такова. Сорокалетний учёный Климов, в прошлом женатый, а теперь одинокий человек, отдыхает в санатории. Однажды на прогулке он встречается с голодной бродячей кошкой. В порыве жалости приводит её в столовую, кормит, но затем по требованию сестры-хозяйки санатория прогоняет животное. Ночью, неожиданно проснувшись, Климов ощущает какое-то внутреннее беспокойство. Не отдавая себе отчёта в том, что делает, идет в лес в поисках кошки, но не находит её. И странное дело: такой вроде бы незначительный эпизод (подумаешь – брошенная кошка!) потрясает героя, заставляет его задуматься о том, как он прожил жизнь.

Перед нами образ интеллигента средних лет. И сам этот образ также “усреднённый”. Думается, не случайно отсутствует портретное изображение персонажа. Ведь это облегчает читателю “примерку на себя”. Описание внешности сводится к формулировке: “сорокалетний человек с избыточным весом, ведущий малоподвижный образ жизни”.

Характеристика действующих лиц переплетается с передачей собственного взгляда главного героя на окружающий мир. Это выражается в тесном слиянии авторской и несобственно-прямой речи, создающем впечатление, что персонаж оценивает ситуацию, а автор – персонажа.

В Климове уживаются два непохожих, далёких друг от друга человека. Один – профессионал, привыкший к деловой атмосфере, официальной обстановке, автор “научных статей в научных журналах”. Этот образ поддерживается употреблением в тексте множества штампов, с помощью которых характеризуется или при помощи которых излагает свои мысли герой: *оценил ситуацию, дневной рацион, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, пребывал в среднем возрасте и полном достатке, высокий интеллект, израсходовать лишние калории, ассортимент* и т.д. Другой – обыкновенный мужчина, живущий обычной жизнью, старающийся не углубляться в тонкости психологических переживаний. В его лексиконе встречаются и разговорные фразеологические единицы, и стилистически сниженные слова, например: *едва сводились концы с концами, плевать с высокой колокольни, полудурок, орать*. Столкновение двух этих функционально контрастных лексико-фразеологических пластов создаёт индивидуальность персонажа.

Отражение особенностей образа находит поддержку в семантике

слов, характеризующих внутренний мир и поведение Климова. По отношению к нему часто употребляются глаголы, описывающие его как человека, живущего рассудком (причём некоторые из них встречаются неоднократно): *оглядел, оценил, пригляделся, поклялся, ответил, размышлял, спрашивал, поверил, раздумывая, спросил, подумал, заметил, сознался, додумывать, заключил, вспомнил, понял* и т.п. Так же часты и глаголы, передающие моторную реакцию: *отправился, оставился, вышел, повернулся, зашагал, вошёл, вернулся, пошёл, ускорила, затонал, обернулся, выбрался, побрёл, сел, лёг, встал, двигается, стоял* и т.н. Ряды этих глаголов, объединённых тематически, создают представление о человеке рационального склада, подвижимом в своих действиях разумом. Гораздо реже встречаются глаголы или глагольные словосочетания, указывающие на чувства: *любил лес; чувствовал себя спокойно и умиротворённо; удивлённо спросил; волнуясь и одновременно ликуя; насмешливо восхитился; заробел; удивился; чувствую почти счастье от ощущения комфорта и покоя*.

Обращает на себя внимание факт, что ощущение любви, счастья (вернее *почти счастья*) вызывают у Климова не люди, а окружающая обстановка. Потребности же в человеческом общении у героя сведены к минимуму. Он как бы возвёл между собой и миром людей искусственную стену и в то же время сам мучится этим. В тексте есть два фрагмента, сходные по мысли, но разные по оценке со стороны героя. Сначала – в описании впечатления Климова от старушки, соседки по столу: “...старушка сама ничего не рассказывала, а Климов не спрашивал. Её не интересовала чужая жизнь, если она не могла иметь к нему отношения”. Затем – в описании подсознательных ощущений Климова: “Наибольшее одиночество приходило к нему в скоплении людей, потому что этим людям не было до него никакого дела. У них была своя жизнь, а у него – своя”. Персонаж совершенно спокойно относится к тому, что чужие люди безразличны ему, и одновременно чувствует боль от невнимания других.

Автор даёт читателю понять, что герой сознательно отдаляется от окружающих и сознательно же запрещает себе углубляться в свои ощущения, упрямо не желая замечать возникающие неприятные проблемы. С этой целью использован приём троекратного корневого повтора: “Гулять он не умел и не любил, потому что незанятый мозг устремлялся в воспоминания, в *додумывание* ситуаций, которые он не хотел бы *додумывать* до конца. Есть ситуации, которые полезнее не *додумывать*”.

Интересно, что текст рассказа почти совершенно лишён тропов. Здесь крайне редки метафоры. Это не случайно: Климов настроен сугубо рационалистично. И только вспоминая свою юность, он настраивается на поэтический лад. Как следствие появляются немногочисленные метафорические словосочетания: *напор счастья, ярко счастливы*.

Уже было замечено, что Климов не чувствует необходимости в общении с себе подобными. Зато автор отмечает тягу героя к природе, восприятие её как живого, родственного начала. Даже люди в представлении Климова схожи с животными или растениями. Вот какими он видит своих соседей по столу: “Соседка справа была деликатная старушка, *похожая на засушенного кузнечика*”; “Олег был *здоровенный, как бурый медведь, и такой же сутулый*”; “Лена была молодая, но не первой, а, пожалуй, второй молодостью, когда *всё, что должно было расцвести, – расцвело, а кое-что даже чуть-чуть повяло. Это было не майское, а июльское цветение красоты*”.

В душе сорокалетнего учёного с рассудочностью странным образом уживается наивный антропоморфизм, сохранившийся с детских лет. Автор вводит сообщение об этой чёрточке сознания персонажа как бы от своего лица, но форма повествования убеждает в том, что перед нами мысли героя. Тут и фамильярный вариант имени друга детства, и фрагменты фраз, схожие с обрывками разговорной речи: “Когда-то в детстве друг *Славка* сказал, что *деревья – это умершие люди и может статься, что в лесу среди деревьев присутствует какой-то очень дальний родственник, живший ещё во времена Ивана Грозного. Климов поверил. И верил по сегодняшнему дню. То есть он, конечно, знал, что это не так. Но ведь никто не доказал обратного*”.

Ощущение единства с природой помогает герою жить: “*Лес мирил его с прошлым и настоящим*”. Случайно встреченную бродячую кошку он подознательно воспринимает как мыслящее, равноценное себе существо. А проявляется это в приписывании кошке человеческих чувств: “*Может быть, эта кошка всю зиму просидела в пустой даче, ожидая хозяев, а теперь обиделась и отчаялась, и вышла на дорогу, прихватив с собой всё своё отчаяние и возмущение*”. Заметим, что очеловечивание кошки происходит помимо воли Климова-рационалиста. Рассудком он оценивает животное как существо неразумное, а потому низшее. Недаром впоследствии (отметим, несколько забегая вперёд) Климов будет недоумевать, когда старушка – соседка по столу – урекнёт его в предательстве по отношению к кошке. Ср.:

[Старушка:] «– Если вы начали принимать участие в другой судьбе, то вы должны участвовать до конца. Или не участвовать совсем.

– Да. Но *это не имеет отношения к кошкам*.

– Вы не правы. Кошка – очень личностный зверь. Вы даже не представляете себе, что такое кошка. Она связана с Луной. Как море.

– Откуда вы знаете?

– Знаю. Я сама при первом рождении была кошкой. – старушка улыбнулась, как бы вынучивая свою фразу.

“*Сумасшедшая*”, – подумал Климов».

Климов-рационалист не допускает мысли о том, что животное срод-

ни человеку. А Климов-антропоморфист, подобно собеседнице, внутренним взором, душой видит в кошке личность.

Но вернёмся к сюжету. По приглашению Климова голодная кошка пошла за ним. Вместе с героем автор отмечает: “Она не собиралась *заискивать* и шла там, где ей было удобно”; получив от Климова угощение, кошка ела много, потому что “она *была не уверена в завтрашнем дне*”. А когда по требованию сестры-хозяйки Климов стал прогонять кошку, «в её глазах легко было прочитать: “какой же ты подлец!”». Согласимся: подобные детали скорее годятся для описания поведения человека, чем животного.

Герой поступил так, как подсказал ему рассудок: из-за какой-то бродачей кошки нечего осложнять отношения с сотрудником санатория. И, очевидно, он не задумался бы, точнее, **не дал бы себе задуматься** над аморальностью поступка, если бы не старушка, которую Токарева дважды определяет эпитетом *деликатная*. Удивившись поведению Климова, соседка упрекнула его: “Вы говорите о живом существе как о вещи”. Эта фраза подытоживает характеристику персонажа, к которой до этого автор подводит читателя исподволь, осторожно.

Климов равнодушен к другим и эгоистичен. А к себе относится с уважением, считая себя “мужчиной с высоким интеллектом”, и со снисхождением, оправдывая свои слабости. Так, решив похудеть, чтобы выглядеть соответственно своему статусу (интеллигент средних лет, имеющий авторитет в науке), Климов вдруг обнаруживает, что не в силах отказаться от лишней еды. Тогда он моментально создаёт в своё оправдание целую теорию. Его размышления о лишнем пончике начинаются с самоугаваривания, попытки воздействовать на честолюбие: “...неужели у него, мужчины с высоким интеллектом, публикующего научные статьи в научных журналах, не хватает силы воли отодвинуть пончик?”, а завершаются цепью аргументов, доказывающих, что пончик необходимо съесть, так как на него затрачено “огромное количество труда”, которым нельзя пренебречь “во имя одной реплики одного полудурка”, могущего заметить, что Климов похудел.

Окружающее персонаж воспринимает как совокупность вещей, которые можно купить в магазине, если возникнет нужда в них. Недаром огонь, море, горы, степь названы не просто природой, а “*всем природным ассортиментом*”. Но сам Климов не смотрит на себя со стороны и даже не догадывается о том, насколько потребительски он подходит к миру. Поэтому реплика старушки обижает героя, задевает его за живое. Срабатывает механизм самозащиты, самооберегания: Климов не подпускает к себе чеховского человека “с молоточком”. Автор снова вводит в текст глагол *додумывать* (вместе с мыслью о запрете *додумывать*): “В комнате он сел в кресло и приказал себе: *не додумывать*. Когда его что-то тревожило и он не знал выхода, он *запрещал себе додумывать* ситуацию до конца”.

Встреча героя с одинокой кошкой оказывается символичной. Неслучайно дело произошло на перекрёстке. Вспомним: в славянской мифологической традиции ему приписывается особая, магическая роль. «Перекрёсток – роковое, “нечистое” место, принадлежавшее демонам, на перекрёстке совершаются опасные и, наоборот, исцеляющие действия, гадания, произносятся заговоры (...) На перекрёстке совершаются предопределяющие судьбу *встречи*” (Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 302–303). Намёком на вмешательство в судьбу персонажа потусторонних сил, думается, служит мотив числа **три** – одного из древних интернациональных символов, нашедших отражение в религиях, суевериях, фольклоре разных народов: перед героем не просто перекрёсток, а место скрещивания **трёх** дорог, где он выглядит русским богатырём, раздумывающим, какую из них выбрать; на это распустье Климов понадеет **трижды**: впервые встречая кошку, относя её обратно по приказу сестры-хозяйки и безуспешно разыскивая животное бессонной ночью. Стоит также отметить, что встреченным животным оказалась именно **кошка**, а не белка или какое-нибудь другое существо. Кошка в мифологии славян тоже связана с представлениями о потусторонних силах. Символичным является и то, что поиски кошки идут при **луне**, устойчиво ассоциирующейся в народных поверьях с загробным миром, с областью смерти (см.: Славянская мифология. С. 246). Число **три**, **кошка**, **луна** воспринимаются как символы и служат своеобразным мостом, по которому герой возвращается из мира холодного прагматизма в мир чувств, в тот мир, в котором и должен существовать нормальный человек. Именно встреча с кошкой и поиски её при луне пробивают брешь в стене запрета на воспоминания. Читаем: “От Луны шло свечение в небе и на земле. Климов вдруг понял, что когда-то уже видел это”. Случившееся заставляет героя изменить своему принципу – *не вспоминать, не додумывать*. Поэтому при описании эпизодов прошлой жизни персонажа, всплывающих в его памяти, в текст снова включается глагол *додумывать*: “Потом он был ярко счастлив и с такой же силой несчастлив. Но об этом лучше не помнить. *Не додумывать* ситуацию до конца... а собственно почему не *додумывать*? Может быть, как раз взять и *додумать* до самого конца”.

Многократный повтор в тексте рассказа слов *додумать*, *додумывать*, *додумывание* привлекает к ним внимание читателя, заставляет осознать их как ключевые.

Ещё одним таким ключевым словом оказывается *совесть*. Интересен приём его введения в текст. Прогоняющий ни в чём неповинную кошку Климов досадует на её нежелание уйти. Эта досада выражается у него репликой: “Ни стыда, ни совести... А ещё кошка”. Реплика в устах персонажа звучит нелепо. Ведь читателю ясно, что коника нежеланием поверить в предательство человека мешает дремать его собственной совести и создаёт у него ощущение неудобства, стыда, в котором

он сам себе не хочет признаться. Неспроста за репликой Климова следует ироничная сентенция, оформленная как речь автора: “Отсутствие совести у одного рождает бессовестность у другого”. Читателем эта фраза воспринимается как имеющая двойное авторство. С одной стороны, она может быть приписана Токаревой, которая с издёвкой говорит о персонаже, с другой – ощущается как мелькнувшая в подсознании героя формулировка оправдания его дальнейших действий: чтобы отпугнуть кошку, он бросил в неё обломком ветки. В конце рассказа, решившись *додумать ситуацию до конца*, герой признаётся себе в том, что *додумать* значит “всё направить и выверить по законам его, климовской, совести”.

Климов испытывает раскаяние – не только и не столько в том, что обидел кошку. Ведь уже ясно: он видит в ней *личностного зверя*, внутренне признавая правоту *деликатной старушки*, и от возвращения кошки ждёт прощения всей своей прежней, эгоистичной жизни. Автор, однако, не даёт герою лёгкого примирения с совестью. Кошки нет, и Климов уже **не размышляет** – он **прислушивается к своим чувствам** (!): “Климов стоял и слушал в себе опустошение. В этом опустошении гулко и трудно, будто вхолостую, билось сердце”. Сердце (по тем же мифологическим представлениям древних) – вместилище чувств. Сердце Климова опустошено, и это заставляет его страдать. Страдание воспринимается как очищение героя.

Анализ рассказа приводит к заключению: основная мысль автора – человек должен помнить о том, что он не один на Земле, что его окружают такие же люди, как он сам, что нельзя отгораживаться от них, нельзя быть равнодушным к чужой жизни, нельзя построить для себя одного крепость и благополучно прожить в ней всю жизнь. Надо обдумывать и оценивать происходящее в соответствии с законом совести, отвечать за свои поступки, иначе расплата неизбежна. И хорошо, если раскаяние в ошибках придёт вовремя, когда ещё можно что-то исправить. А если будет поздно?..

Ростов-на-Дону

Из наследия Ф.А. Степуна

Среди тех деятелей русской науки и культуры, кто оказался неуютным и “ненужным” советской власти и был выслан из страны в 1922 году, числился и Фёдор Августович Степун (1884–1965), видный философ, прозаик, критик, театровед и мемуарист. Почти полвека суждено было прожить ему на чужбине, в Германии, написать многое и о многом, преподавать, редактировать, издавать, претерпевать новые гонения и т.д. Лишь теперь богатейшее наследие мыслителя начинает возвращаться на родину, постепенно переиздается в России, хотя о настоящем, достойном “возвращении”, более или менее солидном воспроизведении сочинений Ф.А. Степуна, говорить пока рано.

В изгнании он написал оригинальный философский роман в письмах “Николай Переслегин” (1923–1925). Из-под его пера вышел цикл очерков “Мысли о России” (1923–1928), множество литературно-критических статей, позднее объединённых в сборник “Встречи” (1962), книги “Основные проблемы театра” и “Жизнь и творчество” (1923), мемуары “Бывшее и несбывшееся” (1956), ряд трудов на иностранных языках. Проповедуемые им идеи, прежде всего, идеи “христианского социализма”, которые особенно глубоко разрабатывались в журнале “Новый Град” (редакторы – Ф.А. Степун, И.И. Фондаминский и Г.П. Федотов), пользовались популярностью в кругах воцерковленной части эмиграции. О статьях и книгах Ф.А. Степуна с уважением отзывались другие беженцы с именем: Л. Зандер, Ю. Иваск, К. Померанцев, Д. Чижевский... Ценили мыслителя и немцы: в частности, в феврале 1964 года в Баварской Академии изящных искусств состоялось торжественное заседание, посвящённое юбилею Ф.А. Степуна. Иными словами, “философ-артист” (так он характеризовал Ф.А. Степуна один из современников) ещё при жизни завоевал вполне заслуженную общеевропейскую (если не мировую) известность, негромкую, но устойчивую.

Менее известен Ф.А. Степун как пушкинист, однако созданные им очерки о поэте позволяют причислить мыслителя к славной когорте исследователей духовного мира Пушкина. Удалось выявить три такие работы; две – “А.С. Пушкин (К 150-летию со дня рождения)” и “Духовный облик Пушкина” – были опубликованы в почтенном журнале “Вестник РСХД” соответственно в 1949 и 1962 годах. Третий же опыт ныне предлагается вниманию читателей – и, несомненно, заслуживает такого внимания.

Этюд “Пушкин и русская культура” был напечатан в нью-йоркском журнале “За Свободу” в 1952 году (№ 3). Он вызвал столь живой читательский интерес, что редакция сочла возможным перепечатать его, что и было сделано спустя год (1953. № 13. 28 июля). С тех пор минуло не одно десятилетие, а мысли Ф.А. Степуна, пусть и выраженные конспективно, вовсе не устарели. Даже наоборот: этюд писался в ту пору, когда в России наступала новая эпоха, – и Ф.А. Степун говорил о том, что; по его мнению, “нужно для возрождения России”; ныне в России снова смута, опять ожидание и надежда – и голос давно ушедшего соотечественника звучит не только убедительно, но и свежо, словно раздаётся сегодня, сейчас, в нашем присутствии.

Стоит помолчать, прислушаться и задуматься – конечно, тем, кому и впрямь небезразлична судьба и “родного пепелища”, и “отеческие гробы”. Прочих же просят не беспокоиться.

М.Д. Филин

Ф. СТЕПУН

Пушкин и русская культура

Наше ежегодное празднование Дня Русской Культуры¹ мы связываем с двумя именами: с именем св. князя Владимира² и с именем великого поэта Пушкина. Это значит, что корнем русской культуры мы признаём восточное христианство, а её наиболее современным воплощением поэта, который, будучи руссеем из русских гениев, был одновременно и наиболее ярко выраженным европейцем среди них. Гений меры, формы и гармонии, Пушкин был певцом и поклонником Петра Великого, повернувшего Московское царство лицом к Европе и тем соединившего его и с более западным Киевом, и с более демократическим Новгородом.

Утверждение внутренней связи между Владимиром Святым и Пушкиным предполагает уверенность в религиозной природе гения Пушкина. Конечно, Пушкин не был ни религиозным мыслителем, ни нравственно-социальным проповедником, ни христианским мистиком. Его связь с духовным миром и с Православной Церковью была сверхлична и проста, народна и даже простонародна. В этой связи было больше биологически-мистической памяти, чем личного опыта и своевольной мысли. Этою мистически-биологической памятью только и объясним его дар пересказа народных сказок, стихотворного переложения молитв, перевоплощения в древних русских людей и раскрытия религиозных корней в современных ему людях.

Быть может, оттого, что в самой природе пушкинского гения была исключительно сильная благодать: смирения и не мудревающей лукаво мудрости, – ему и удались столь совершенно образы Пимена, кающегося в своих грехах перед народом Пугачёва и Татьяны. Почти все созданные Пушкиным люди – люди духовного и бытового благообразия, в них нет ничего безграничного, безобразного и безобразного. Мир – и как природный космос, и как история человечества – был обращён к Пушкину своей положительной стороной, хотя поэт не был ни утопистом, ни иллюзионистом. Оттого он никогда и не искажал людских образов наподобие Гоголя, никогда не громил, как Толстой, культуры и никогда “почтительно” не возвращал билета самому Господу Богу в неудавшийся Ему мир – карамазовский соблазн, которому не чужд был и сам Достоевский.

Отнюдь не собираясь умалять абсолютной высоты этих величайших гениев России, должно, думается, всё же признать, что ныне, в час насильнического искажения образа России, материалистически-цивилизационного погрома русской культуры и дерзкого отобрания у Господа Бога входного билета в созданный Им мир, пушкинский дух меры и равновесия, трезвости и благолепия, с непостижимо живым в нём сочетанием народности и вселенскости, русскости и европеизма, более нужен России, чем мистическая эсхатология Гоголя, анархо-социалистический морализм Толстого и религиозно-националистический мессианизм Достоевского.

Когда с России спадут оковы сталинизма, этого нерасторжимого единства умирающей революции и нарождающейся реакции, её ничто не сможет возродить, кроме живительного духа подлинного консерватизма, которым был так щедро наделён Пушкин и которым была так бедна и народная, и интеллигентская Россия. Дух консерватизма есть прежде отрицание крайностей, той “апологии полярности”, которую Мережковский односторонне считал сущностью России. Отрицание крайностей неотделимо от утверждения середины, не мещанской срединности, а середины в смысле религиозного средоточия мира и жизни. Это хорошо понимал умный поэт Маяковский, начавший свой акафист чёрту словами: “Провалились все середины, нету больше никаких средин!”

Пушкин творил, то есть как поэт жил из глубины мирового средоточия. Это средоточие питало в нём живую память о прошлом, крепкую любовь к отцам и дедам, но оно же открывало ему глаза на “жестокость” своего века и заставляло славить “свободу” и призывать “милость к падшим”.

Но и славя свободу, требуя справедливости и милости к падшим, друг декабристов, Пушкин никогда не становился революционером. Не становился им потому, что его укоренённая в традиции свобода зижди-

лась на добрых чувствах и на Божьей воле:

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,
залог величия его³.

Замечательные мысли: послушность Божьей воле, крепкая память о прошлом и укоренённая в добре свобода как залог человеческого величия – это всё, что нужно для возрождения России.

Комментарии

Публикуется по изд.: “За Свободу”. Нью-Йорк, 1953. № 13. 28 июля.

¹ *День Русской Культуры* – главный светский праздник первой русской эмиграции, граждан Зарубежной России. Отмечался во всех регионах русского рассеяния с середины 1920-х годов и был приурочен ко дню рождения Пушкина.

² *Владимир Святой, князь* (ок. 962–1015) – сын великого князя Киевского Святослава, великий князь Киевский с 978 года, креститель Руси. Причислен Русской Православной Церковью к лику святых и наречён “равноапостольным”. В эмиграции правые, национальные силы отмечали день памяти Владимира Святого (15 июля ст. ст.) как День Русской Славы, в известной мере противопоставляя этот праздник Дню Русской Культуры, идея проведения которого возникла в либеральных кругах. Однако если политики и здесь находили повод для соперничества, то простые просвещённые граждане, подлинно русские люди, никоим образом не противопоставляли праздники один другому, отмечали оба; а после Второй мировой войны, когда ряды первой эмиграции по естественным причинам заметно поредели, а финансовые возможности, и без того скудные, стали попросту нищенскими, граждане Зарубежной России по существу отмечали только День Русской Культуры, вспоминая одновременно и величайшего из русских князей, и величайшего поэта.

³ “Два чувства дивно близки нам...” (1830, беловой автограф).

Холокост

А.В. ЗЕЛЕНИН.

кандидат филологических наук

Этот термин в последние годы можно встретить на страницах печати, услышать по радио и телевидению. Его значение – “массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны” (Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998), “гибель значительной части еврейского населения Европы – в ходе систематического преследования и уничтожения нацистами и их пособниками в Германии и на захваченных ею территориях в 1933–45 гг.” (Словарь по правам человека. М.: Рязань, 1997). Тема холокоста в последнее время обсуждается с разных сторон: с социально-психологической (как в XX веке стало возможным уничтожение такого большого количества представителей одного народа?), этико-моральной (почему Европа “молчала”, зная о преследованиях евреев в Германии?), религиозной стороны (виновны ли и несёт ли ответственность христианство как религия за истребление евреев и иудеев?).

В европейских языках термин *холокост* известен давно. Его этимологический источник – греческое сложное слово *holocaustos*: *holos* “целый, целиком, полностью”, *kaustos* “сожжение” <*kaiein* “сжигать”; в поздней латыни эта форма выступает в виде *holocaustum*. У евреев ещё в библейскую (ветхозаветную) историю существовало несколько видов жертв: жертва всесожжения, жертва греха, жертва вины, жертва спасения или мира, жертва бескровная, жертва очищения, жертва ревнования, жертва возлияния; таким образом, сама процедура жертвоприношения была тщательно разработана и лексически закреплена за соответствующими обозначениями при отсутствии одного обобщающего названия. В необычных или экстремальных ситуациях жертвы приносились иногда в огромном количестве: из истории известно, что Соломон при освящении храма принес в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец (Христианство. Энциклопедический словарь. Т. I. М., 1993. С. 541).

В Новом Завете само понятие ветхозаветной жертвы переосмыслено: конкретно-физическое жертвоприношение Богу заменено гайнст-

вом причащения, или евхаристии (первый опыт этого – на Тайной вечере). Греческое существительное *holocaustos* использовалось в Библии для обозначения еврейской жертвы всесожжения. Процедура этого вида жертвы состояла в том, что в жертвенном животном (им считалось только “чистое”, например, козы и овцы, молодые бычки, не менее 7 дней от рождения, а из птиц – голуби) сжигалось всё, кроме кожи, которая принадлежала священнику. Это жертвоприношение символизировало то, что приносящий жертву отдаёт Богу всего себя: и душу и тело.

В XII веке греческое слово попадает во французский язык – *holocauste* (первое упоминание в 1170 г. – “Книга Королей”). В таком специальном значении это слово во французском употреблялось довольно долго, пока в конце XVII века у него не появилось обобщенное значение – “любая жертва, принесенная таким образом” (то есть путем сожжения). Видно, что это значение отсылало сознание читателя к библейской истории и было ассоциировано с фоновыми знаниями носителя языка. В это же время у слова формируется значение, уже не мотивированное еврейской библейской историей, – “священная кровавая жертва, казнь, выполненная с религиозными целями” в контексте с упоминанием древних верований и обрядов друидов. Однако во французский язык новое значение, связанное с массовым уничтожением евреев во время Второй мировой войны, попало, как и в русский, только в последние годы из английского.

В старославянских памятниках письменности использовалось два обозначения для передачи греческого термина: варваризм *олокавтомата* (греч. *ta olokautomata*, мн. число – “всесожжения” как синоним понятия “жертва” (*жрътва*): см.: Старославянский словарь. М., 1994. С. 411) и кальки – причастие-прилагательное *всесьжагаемаъ*, существительное *всесьжежение* (там же. С. 162–163). В древнерусском языке эти формы также встречаются, особенно в древнейших переводах или списках, выполненных с южнославянских рукописей, употребляются они и в произведениях древнерусских авторов (Кирилл Туровский). Попытка проникнуть в греческое обозначение с содержательной стороны видна в новых производных или новых значениях, появившихся на почве русского языка: *всесожженое* “то, что приносится в жертву” (Геннад. Библия. 1499 г.), *всесожигаемое* “место жертвоприношения” (там же), *всесожигати* – несов. вид к старослав. *всесожеци* “принести в жертву Богу, сжигая что-л. полностью” (Мардария Хоникова стихи к Лицевой Библии... XVIII в.). Именно в Геннадиевской Библии в русском языке впервые фиксируется и форма *олокаустъ* (или *олокаустумъ* как графическая передача латинского *holocaustum*).

В XVIII веке формы *всесожжение*, *всесожженный*, *всесожигать* стали стилистически маркированными, свойственными высокой книжности. Интересно, что слово *всесожжение* держалось в языке довольно

долго: до тех пор пока Библии отводилась роль предмета для обязательного обучения или активного чтения. Термин фиксирует еще Словарь Ушакова, сопровождая характерной пометой – “книжн.(ое) истор.(ическое) религ.(иозное)”, БАС-1 дает его лишь с одной целью: проиллюстрировать употребление “от Пушкина до наших дней”; БАС-2 уже исключает это обозначение из своего состава.

Форма *олокауст*(ум) как непонятная уходит из употребления даже в библейских текстах, становясь лишь фактом истории русского языка и древней переводной литературы. Возвращение этого слова в русский язык спустя длительное время связано с экстралингвистическими факторами, о которых пойдет речь в дальнейшем.

В английском языке слово *holocaust* известно с XIII века; вплоть до конца XV века оно использовалось только в библейском значении. С конца XV в. его значение расширяется, и оно обозначает жертву, дар Богу вообще, без ассоциаций с обязательным сожжением в огне. Только в 40-е годы XX века, в разгар Второй мировой войны, в английской прессе появились первые упоминания слова *holocaust* (чаще всего в метафорическом, иносказательном смысле) применительно к евреям Германии, однако эти употребления оставались еще явно периферийными для языка обозначениями и не вошли в речевой обиход. Однако активизации слова способствовали историки, которые в 50-е годы, после Нюрнбергского процесса 1945–1946 гг. (международного суда над фашизмом), стали широко использовать это обозначение. Таким образом, зародившись в недрах публицистики, оно вскоре попало в профессиональную речь.

Первые употребления слова *холокост* в русском языке в новом значении – конец 80-х – начало 90-х годов: “[Еврейский народ] понес чудовищные потери в результате гитлеровского геноцида...” (Наш современник. 1991. № 3); «Само по себе необычайно образное и сильное слово “холокост”, толкуемое чаще всего как “испепеляющее уничтожение”, стало символом великих жертв и страданий еврейского народа в годы фашизма» (СПб. ведомости. 1998. 2 сент.). Правда, графическая форма в английском и его произносительная норма провоцируют в русском языке написание и произношение двух типов – *холокост* и *олокауст*: «В переводе с греческого “холокауст” (“холокост” – это английское произношение) означает “жертвоприношение путем полного сожжения”. Во всем мире 23 апреля – День памяти евреев – жертв холокоста» (Известия. 1998. 23 апр.). Встречается также вариант *голокост* (*голокауст*) как попытка передать европейское придыхательное [h] русским взрывным [г]; вариант *голокост* отвечает традициям русской орфографической системы при передаче иноязычных заимствований с начальным [h], форма *холокост* свидетельствует о распытывании орфографических норм, однако соответствие графическому облику иноязычного слова, очевидно, обеспечит ей место в русском языке.

В наши дни иноязычные заимствования, часто без понимания их внутренней формы, смысла и исходного значения, начинают адаптироваться в русском языке самым необычным (а то и уродливым) образом. Упомянутое обозначение уже приобрело расширительное толкование, никак не соотносясь с этимологом, отражая лишь приблизительность, неточность понимания смысла: “Ждет ли нас электронный холокост?” (Если. 1998. 30 марта); ср. также использование этого слова в качестве имени собственного при обозначении научно-просветительского центра “Холокост” в Москве.

Родственным понятием является термин *геноцид*, в европейских языках употребляющийся так же недавно, но более освоенный, чем *холокост*. *Геноцид* – слово, составленное из греч. *genos* “род, племя” и суффикса *-cide*, пришедшего в английский, скорее всего, из французского языка: *-cide* и восходящего к лат. суффиксу *-cidium*, *-cida* при обозначении лица, совершившего убийство, или стремления к уничтожению, истреблению (от глагола *caedo* “убиваю” < *caedere* “убивать”); буквально *геноцид* – “уничтожение, убийство рода, племени”. Слово вошло в европейские языки из английского; первые употребления – годы Второй мировой войны, контексты также связаны с описанием фашистских преступлений. Сначала его приходилось истолковывать. В английских источниках его поясняли так: “the distruction of a nation or of an ethnic group” (уничтожение наций или этнических групп), “the extermination of racial and national group” (истребление расовых или национальных групп – The Oxford English Dictionary. V. 6. Oxford, 1989. P. 445). Общественное внимание к этому понятию было привлечено во время суда над нацизмом (Нюрнбергский процесс в 1945–1946 гг.). В 1948 году была принята международная конвенция “О предупреждении преступлений геноцида и наказания за него”, которая устанавливала уголовную ответственность лиц, виновных в этом преступлении.

Слово *геноцид* быстро вошло в русский язык, его первая фиксация – в “Словаре иностранных слов” (1949 г.). Современные словари дают такое определение значения – “истребление отдельных групп населения, целых народов по политическим, расовым, национальным или религиозным мотивам” (Большой толковый словарь русского языка. СПб, 1998). В современном употреблении (особенно в публицистическом языке, где сдвиги значений наиболее значительны) встречаются переносные или расширительные использования слова (например, при обозначении снижения жизненного уровня людей в годы перестройки, притеснений человека вообще – даже на рабочем месте и т.п.).

До появления слов *геноцид*, *холокост* в русском языке использовались понятия “погром”, “резня”, например, применительно к армянам, евреям. Обновлению содержания понятия “погром” и придания ему социально-политического звучания способствовали общественные обстоятельства, когда в 1881 г. после покушения на Александра II вина

пала на евреев. Начались грабежи магазинов, принадлежавших евреям, избиение людей. В дальнейшем погромы повторились в России в 1903–1917 гг., в Турции в 1915 г. против армян, в Германии против евреев (1938–1945 гг.; последнее обозначение уступило место термину *холокост*, а еврейские погромы стали лишь предвестниками этого страшного явления).

Другое обозначение с близким значением – *резня*: “драка насмерть, сражение или убийство холодным оружием, большое кровопролитие” (В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка). Соотношение понятий “погром” и “резня” родо-видовое: первое является более общим по значению (родовым), второе (видовое) включается в содержание первого. Первый термин – *погром* – вошел в другие языки в русской форме, без перевода; этот термин используется также в международном праве – например, в “Словаре по правам человека” (авторы А.Д. Джонгман и А.П. Шмид) понятие “погром” лексически обозначается русским словом – *rogrom*, в отличие от понятия “резня” – англ. *massacre*. Очевидно, одно из первых исторических свидетельств, после которого понятие “резня” вошло в европейский политический лексикон, – Варфоломеевская ночь: массовая резня католиками гугенотов в ночь на 24 августа 1572 г. в Париже, организованная Екатериной Медичи и Гизами – представителями французского аристократического рода. В эту ночь и ближайшие дни только в Париже погибло около 2000 человек и не менее 5000 во всей Франции. Когда известие о таком жестоком массовом убийстве достигло Московии, царь Иван Грозный осудил избиение невинных людей, совершенное по религиозному призыву.

В советское время термины *погром*, *резня* употреблялись с идеологическим заданием – либо применительно к способам решения национального вопроса в дореволюционной (царской, помещичьей, дворянской, полицейской, черносотенной...) России, либо для характеристики империалистического подхода к национальной проблеме – оба в противопоставлении советскому, социалистическому. Современный дискурс изменил прагматическую направленность данных обозначений, вернув их с периферии языка в центр лексической системы. Приведем лишь несколько выдержек из газет: *Литва присоединилась к заявлению ЕС о резне в Косово; Югославские власти возлагают ответственность за резню в Старо-градско на КФОР и гражданскую миссию ООН в Косово; Французские журналисты тоже предполагают, что албанцы перемещали многие трупы жертв зверств и они сами над ними учинили резню; вновь прибывшие беженцы, состоявшие почти исключительно из женщин, детей и стариков, говорили о массовой резне в Межа; первой появилась гипотеза о том, что резня стала “кровной мстью” за недавнюю казнь в Ираке группы иорданцев; столь циничные действия погромщиков вряд ли были бы возможны, если бы в латвий-*

ском обществе изо дня в день не насаждалась воинствующая ксенофобия, не происходило бы деления людей на “своих” и “чужих”; погромщики избрали своей мишенью городскую синагогу, и т.д. Данные цитаты показывают, что в публицистическом и общем языке семантические границы между словами *погром* и *резня* часто размыты из-за близости смыслов, формирующих структуру значения терминов, поэтому так легко возможна их взаимозамена. В специальном языке используется также комбинированный термин *геноцидная резня*, однако на страницы публицистики он еще не проник.

Новыми обозначениями, буквально ворвавшимися в русский язык в последние годы, являются термины *этноцид* и *этническая чистка* (*этнические чистки*). Оба названия заимствованы из английского языка (вернее – его американского варианта). Термин *этноцид* (ethnocide) образован по модели слова *геноцид*: греч. *ethnos* “народ” + суффикс *-cide*. Именно моделирование термина *этноцид* по уже существующей структуре иногда провоцирует на его синонимизацию с термином *геноцид*, однако в международной практике этноцидом чаще всего обозначают не физическое истребление людей (*геноцид*), а уничтожение культуры народа (Словарь по правам человека. М.; Рязань, 1997). Появление термина было вызвано, в частности, обсуждением на 39 Всеамериканском конгрессе по индейцам (1970 г., Лима) проблемы истребления нескольких десятков тысяч индейцев в бразильском штате Мато Гроссо.

Термин *этническая чистка* (чаще – в форме множественного числа) в русском языке является калькой английского *ethnic cleansing*. В европейской политике оживление внимания к термину началось в связи с войной в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг.; этим названием обозначали тактику сербской милиции, хорватов и боснийцев при захвате новых территорий и укреплении своих позиций на захваченных землях, сопровождавшимся убийствами, изнасилованиями, пытками людей, нанесением им увечий. Активизированное в начале 90-х годов словосочетание *этнические чистки*, первоначально связывавшееся преимущественно с сербами, теперь используется очень широко. Для примера приведем типичные фразы из публицистики: *этнические чистки в Югославии; геноцид – этническая чистка в Абхазии; цифры, факты; конгресс народов Чечни и Дагестана готов направить в Косово специальную бригаду для предотвращения этнических чисток, проводимых югославскими властями; сербские радикалы обвинили размещенные в Косово международные миротворческие силы в поговрстве этническим чисткам; глава сербской православной церкви и церковные и политические лидеры косовских сербов призвали президента США, ООН и НАТО остановить этнические чистки в Косово*. В отличие от термина *этноцид* (используемого в научном дискурсе), данное обозначение ведет себя активно как в современной публицисти-

ке, так и в русском речевом обиходе, свободно употребляясь не только в публичной, но и в разговорно-литературной речи.

В этой статье мы не касались рассмотрения слов, обозначающих другие формы угнетения, – *депортация*, *насильственное переселение* (*выселение*), *изгнание*, *ссылка* (активизировавшихся в публицистике середины 80-х – начала 90-х годов), а затронули только историю некоторых понятий, называющих наиболее жестокие, кровавые формы национальных притеснений. Однако даже на таком небольшом материале видно, что в XX веке в сфере обозначений межнациональных отношений и – в частности – связанных с уничтожением, истреблением представителей другого народа, национальности, народности, в русском языке происходило уточнение старых понятий (*погром*, *резня*) или пополнение лексикона (за счет иноязычных заимствований: прямых – *геноцид*, *этноцид*, *холокост* и калькированных – *этническая чистка*). В совокупности они описывают разные степени, фазы национального угнетения, свидетельствуют о дроблении понятий в данной сфере, призванных максимально точно квалифицировать расовую дискриминацию, но вместе с тем в освоении их русским языком прослеживается тенденция к унификации представлений в области прав человека, определяемых не классово-политическими, а общечеловеческими ценностями.

Санкт-Петербург

Жилищный или жилой?

В. И. КРАСНЫХ,

кандидат филологических наук

Необходимость разграничения паронимов *жилищный* и *жилой* связана прежде всего с тем, что однокоренные существительные *жилище* и *жилье* являются частичными синонимами. Определения значений каждого из этих существительных в толковых словарях отличаются лишь деталями (на которых нет необходимости останавливаться) и сводятся в основном к следующему: *жилище* – “Помещение для жилья: дом, квартира и т.д.” (напр., *благоустройство жилища, право на жилище*); *жилье* – 1. “Обитаемое место, где живут люди” (напр., *человеческое жилье, признаки жилья*). 2. Разг. “То же, что жилище” (напр., *тесное жилье, строить жилье*).

Прилагательное *жилищный* толкуется в словарях как “относящийся к жилищу”. На наш взгляд, можно следующим образом очертить круг существительных, сочетающихся с этим прилагательным: *вопрос, проблема, строительство, кооператив, условия, реформа, политика, законодательство, кодекс, кредиты, сертификаты, субсидия, инспекция, комиссия, отдел, контора, кризис, конфликт, проект, фонд, неустроенность* и некоторые др. Приведем примеры:

“Жилищная проблема давно перешла в новую стадию...” (Известия. 1994. 5 мая); “Даже из окна электрички можно оценить, что за городом идет совершенно невиданное в последние десятилетия *жилищное строительство*” (Обозреватель. 1994. № 4); “А у нас предусмотрен специальный фонд на улучшение *жилищных условий*” (Аргументы и факты. 1999. № 4); “Отныне мы имеем теоретические возможности обзавестись квартирой двумя способами: получая *жилищные кредиты* и приобретая *жилищные сертификаты*” (Известия. 1994. 12 июля); “Бытовые проблемы, *жилищная неустроенность* не придают оптимизма никому” (Домашний очаг. 1999. Февраль).

Основное значение прилагательного *жилой*: “Предназначенный, приспособленный для жилья”. Это прилагательное выступает в качестве определения к следующим существительным: *дом, комната, помещение, строение, сооружение, корпус, комплекс, массив, микрорайон, квартал, зона, застройка, площадь, половина (дома), недвижимость, пятиэтажка* (разг.), *фонд* и некоторые другие. Для наглядности проиллюстрируем сказанное большим количеством примеров из современной художественной литературы и текущей периодики:

“Народу на свадьбу Анатолий созвал больше, чем позволяла *жилая площадь*” (И. Велембовская. Маша Огонькова); “Она (магнитная сила земли) осветила все улицы и все дома и обогрела все *жилые помещения*” (А. Куприн. Тост); “Почти повсеместно отсутствуют игровые площадки в *жилых кварталах*, при общежитиях, в учебных заведениях” (Комс. правда. 1998. 25 дек.); “Любарские жили в доме, стоящем в глубине большого *жилого комплекса*” (А. Маринина. Я умер вчера); “Ось нового моста сместилась вниз по реке, на 22 метра ближе к *жилым массивам*” (Аргументы и факты. 1999. № 3); “Сделки по покупке *жилой недвижимости* оформляются только через местных нотариусов...” (Профиль. 1999. № 6); “Практически весь *жилой фонд* распродавался на коммерческой основе” (Домашний очаг. 1998. Декабрь).

Интересно отметить, что существительное *фонд* может сочетаться с обоими прилагательными (*жилищный* и *жилой*), при этом словосочетание *жилищный фонд* традиционно употреблялось в официально-деловой речи, а сочетание *жилой фонд* – в разговорной речи. Однако в настоящее время, очевидно, складывается тенденция, когда последнее начинает достаточно широко использоваться и в официальных документах (о чем говорят работники местных муниципальных органов и жилищных контор), а также в выступлениях руководящих городских чиновников и в периодической печати. Не исключено, что со временем словосочетание *жилой фонд* полностью вытеснит своего “конкурента” из сферы официально-делового общения.

Необходимо сделать и некоторые замечания относительно употребления устойчивого словосочетания *жилая площадь*. В толковых словарях это сочетание трактуется как “помещение для жилья”, и именно в этом значении оно употребляется в предложении из повести И. Велембовской “Маша Огонькова” (см. выше). Существует также и сокращенная (точнее – семантически стяженная) форма указанного словосочетания – *жилплощадь*, впервые зарегистрированная с пометой “нов. офиц.” (т.е. “новое, официальное”) в толковом словаре под ред. Д.Н. Ушакова в 1935 г. Позднее эта сокращенная форма благополучно переняла в качестве отдельной словарной статьи и в другие толковые словари – БАС, МАС, словарь С.И. Ожегова и “Русский толковый словарь” В.В. и Л.Е. Лошатиных.

Во всех толковых словарях, а также в двуязычных русско-иностранных словарях между двучленной и одночленной номинациями ставится полностью знак равенства, т.е. *жилплощадь* рассматривается лишь как сокращение от *жилая площадь*. На самом же деле это не совсем так, и мы постараемся это показать в ходе дальнейших рассуждений.

В течение многих десятилетий двучленная номинация употреблялась как в официально-деловой (достаточно вспомнить, например, пресловутое официально-бюрократическое выражение “норма жилой площади на человека”), так и в разговорной речи. Однако в сочетании

жилая площадь, входящем в выражение *норма жилой площади* (также отмеченном, между прочим, впервые в словаре Д.Н. Ушакова), наблюдается некоторый семантический сдвиг – в этом случае имеется в виду только площадь жилых комнат, без учета кухни и других подсобных помещений. Норма жилой площади – типичная советская реалья, появление которой было обусловлено острой нехваткой жилья в течение многих лет и преобладанием коммунальных квартир, в которых одна семья имела в лучшем случае две комнаты.

В этом, более узком, значении сочетание *жилая площадь* употребляется и в наши дни (переместившись, правда, преимущественно в сферу разговорной речи) и обычно противопоставляется другому словосочетанию – *общая площадь*, которое получило недавно и официальный “статус”, поскольку теперь нормы предоставления муниципального жилья определяются из расчета не жилой, а общей площади на человека. Употребляя эти словосочетания, мы имеем в виду прежде всего размер (т.е. количество кв. метров) жилых комнат или всей квартиры вместе с подсобными помещениями, что необходимо знать при различных сделках с жильем.

Что же касается одночленной номинации *жилплощадь*, то она употреблялась и употребляется до сих пор исключительно в первоначальном, более широком, значении (“помещение для жилья”), независимо от того, что представляет собою это помещение – комнату в коммунальной квартире, отдельную квартиру или даже целый дом, и более характерна сейчас для разговорного стиля речи. Для наглядности приведем несколько бытовых контекстов, в которых обычно употребляется это слово:

Бабушка хочет прописать внука на свою *жилплощадь*. Николай и Ольга недавно поженились, и Николай переехал на ее *жилплощадь*, а свою сдал иностранцам. Прошу разрешить временную прописку (регистрацию) моих родственников на принадлежащей мне *жилплощади* (из заявления в милицию). Эта многолетняя семья уже давно нуждается в увеличении *жилплощади*.

Таким образом, словосочетание *жилая площадь* может употребляться в более широком (“помещение для жилья”) и в более узком (“жилые комнаты”) значениях. В последнем случае оно противопоставляется словосочетанию *общая площадь*. А сокращенная форма *жилплощадь* всегда употребляется в более широком смысле и не может противопоставляться сочетанию *общая площадь*.

В заключение нужно сказать еще несколько слов о прилагательном *обитаемый*, близком по значению к слову *жилой*: “населенный людьми, пригодный для жизни людей”. Однако это прилагательное относится лишь к весьма ограниченному кругу существительных (например, *остров, территория, местность, место*) и, как правило, не может выступать в качестве синонима к прилагательному *жилой*.

В толковых словарях *обитаемый* выделяется, между прочим, и как смысловой оттенок значения прилагательного *жилой*. Это представляется нам недостаточно оправданным и даже вообще излишним, поскольку часть приводимых в этом случае речений (напр., *жилой остров, жилое место*) выглядит в настоящее время уже явно устаревшей, а другие (*жилое помещение, жилая комната*) подпадают под основное значение прилагательного *жилой*.

Отвечаем любознательным

Звездный час

Выражение принадлежит известному австрийскому писателю Стефану Цвейгу, который озаглавил сборник своих исторических новелл “Звездные часы человечества” (1927 г.). В предисловии к сборнику Цвейг пишет о том, что каждое судьбоносное событие созревает постепенно, исподволь. Из миллионов впустую протекших часов только один становится подлинно историческим. Именно это мгновение “предопределяет судьбу сотен поколений, направляет жизнь отдельных людей, целого народа или даже всего человечества”.

Выражение “звездный час” вошло в литературный язык в значении: переломный, решающий момент в чьей-либо жизни, судьбе или карьере. Обычно в этом случае речь идет о политических и общественных деятелях, полководцах, дипломатах и людях творческих профессий – артистах, писателях, музыкантах и художниках.

Язык прессы

О модном способе окказионального словообразования

Н. И. КЛУШИНА,

кандидат филологических наук

В современном русском языке достаточно приемов “сгущения” смысла. Традиционные способы компрессивного словообразования – это конверсия, сращение, сложение, стяжение словосочетания и аббревиация.

Конверсия, или морфолого-синтаксический способ образования, – это создание нового слова в результате его перехода из одной части речи в другую без использования специальных словообразовательных аффиксов, например, при субстантивации (переходе прилагательного или причастия в существительное): *командующий округом – командующий, больной человек – больной.*

Сращение, или лексико-синтаксический способ образования, используется при создании слова из целого словосочетания, например: *се-го дня – сегодня; быстро растворимый – быстрорастворимый; вяло текущий – вялотекущий.*

Аббревиация – это сложение сокращенных основ (*вуз*) или сокращенных основ и полных слов (*телецентр*).

При сложении одна или несколько производных основ складываются в новое слово с помощью интерфикса (материально выраженного или нулевого), например: *юг и запад – юго-запад; плац и палатка – плац-палатка.* Это так называемое чистое сложение. Если в словообразовании участвует и суффикс (*левый берег – левобережный*), то это сложносуффиксальный способ словообразования.

И, наконец, стяжение словосочетания, или суффиксальная универбация, используется при создании слова из определительного словосочетания, когда определяемое слово опускается, а к основе присоединяется суффикс: *читальный зал – читалка; зачетная книжка – зачетка.*

Именно эти способы служат концентрации смысла целого словосочетания в одном слове, что в современном языкознании получило название “универбация” (от лат. *unus* – один и *verbum* – слово), то есть образование слова на базе словосочетания, которому оно синонимично. В отличие от так называемых “номинативных” способов словообразования, которые призваны дать новое название какому-либо предмету или

явлению, компрессивное словообразование используется “для однословного обозначения понятия, уже имеющего в языке устойчивое наименование, но составное, неоднословное” (Русский язык. Энциклопедия. М., 1977. С. 577).

Общепризнано, что все перечисленные виды компрессии реализуют одну из основных тенденций в развитии языка – тенденцию к экономии средств выражения. Но в современной газетной речи одним из наиболее модных способов “сгущения” смысла стал, наоборот, наименее “экономный” – сращение. И не случайно, так как стремление сегодняшних журналистов к экспрессивности и даже эффектности высказывания оказывается важнее, чем экономия речевых средств. Эксперименты со словом приводят к появлению в печати, например, таких окказиональных существительных, как “Россия-которой-не-стало” (Комс. правда. 1997. № 56), “человек-которого-показывают-по-телевизору” (АиФ. 1999. № 20) и других, составленных на базе не просто словосочетания, а почти предложения.

По форме эти окказионализмы напоминают слова, созданные с помощью сложения, где в качестве словообразовательного форманта должен выступать нулевой интерфикс, а на письме основы разделяются дефисом: *диван-кровать*. Или возьмем более усложненный вариант: *мать-и-мачеха, экс-вице-премьер*, где в слове мы встречаем уже несколько дефисов.

Но по сути – это сращение, то есть “способ словообразования, при котором производное слово во всех своих формах полностью тождественно по морфемному составу синонимичному словосочетанию; синтаксическая связь этого сочетания остается живой в структуре производного слова” (Русский язык. Энциклопедия). В наших примерах производящей основой является целое словосочетание, которое не претерпевает никаких семантических изменений. Значение сложного слова “плащ-палатка” выводится из словосочетания “палатка в виде плаща”, а не “плащ и палатка”. Здесь нет простого сложения смыслов двух производящих основ. Одна сема как бы накладывается на другую, и рождается новое слово. А в рассматриваемых нами окказионализмах их значение целиком складывается из семантики составляющих эти слова компонентов. И со словообразовательной точки зрения интерфиксов, даже нулевых, в подобных окказионализмах нет, ведь интерфикс соединяет основы слова. В наших же примерах сложились не просто производящие основы, а целые слова, стоящие не только в именительном, но и в косвенном падежах (с окончаниями, которые, как известно, выносятся за пределы основы), причем слова, относящиеся к разным частям речи.

Подобные эксперименты уже проводились в художественной речи писателями и поэтами Серебряного века. Но на первый план выдвигалась задача не столько эффектности высказывания (хотя и она не упускалась из виду), сколько поиска наиболее точного выражения смысла в русле новаторской эстетики начала века.

Так, А. Кручных назвал одну из своих книг “Мирсконца”, сгустив смысл номинации с помощью чистого сращения. И эта новая номинация включила в себя признак: не “Мир (какой?) с конца”, а (что?) “Мирсконца”. Такое написание подчеркивает скрытую антитезу: не общепринятое описание истории *ab ovo*, с самого начала, а описание современности – с конца мира. Слитное написание переводит окказионализм в область философских терминов.

И действительно, одной из особенностей сращений является терминологизация слов. В современной газетной речи подобные окказиональные сращения (иногда с суффиксацией) также используются для создания новых квазитерминов (часто шутливых или ироничных), которым журналисты стремятся дать полновесность обобщающих определений: «Получилось нечто в стиле “айдалюлизм” – бантики, розочки, пластмассовая бижутерия, кримплен и нейлон, ярчайшие сочетания красок» (АиФ. 1998. № 15).

Но наиболее часто журналисты используют дефисное, а не контактное написание в подобных случаях: «...пауза, напряжение разрешается возникающей на лице оратора ироничной улыбкой, в стиле “ну-вы-представляете?”» (АиФ. 1999. № 12). По происхождению дефис – разделительный знак, само его название произошло от лат. *divisio* – разделение, расчленение. Но еще М.В. Ломоносов называл его “единительным”. И, действительно, в наших примерах дефис соединяет слова в новое название, объединяет смысл складываемых слов. И контактное написание “Мирсконца” в семантическом плане равнозначно дефисному написанию: “мальчик-с-пальчик”, “Малый-Не-Промях” (название романа К. Воннегута). Здесь дефис объединяет прозвища, обычно являющиеся приложением и пишущиеся отдельно (Владимир Ясное Солнышко), с нарицательными существительными в новое имя, которое существует только как неразрывное целое.

Дефисное написание становится модным и при назывании людей старшего или младшего поколения одной и той же семьи, где прилагательное используется в несвойственной ему функции приложения: “И если бы не выстроенная недавно громадина центра Галины Вишневской творения *Посохина-м.л.*, а до этого – церетлиевский уродец Петр, Остоженка постепенно возвратила бы себе типичные московские черты” (Центр-плюс. 1999. № 29); “*Пресняков-старший* – жене...” (АиФ. 1999. № 22).

Дефис как “единительный” знак также использовали поэты начала века. Их эксперименты со словом касались не только смыслового новаторства, но и новаторства формы, словесной оболочки, которая может наилучшим образом отражать вложенное в нее индивидуально-авторское понимание окружающего мира. Так, М.И. Цветаева в автобиографическом очерке “Мой Пушкин” писала: “Памятник Пушкина был не памятник Пушкина (родительный падеж), а просто *Памятник-Пушкина*, в од-

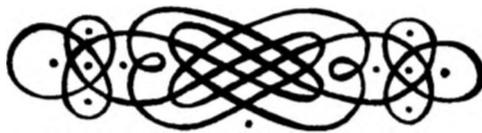
но слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина” (Цветаева М.И. Собр. соч. в 7 т. Т. 5. М., 1994. С. 59). Таким же образом она в очерке “Хлыстовский” объединяет дефисом частицу со сравнительной степеню прилагательного, получая необходимое для выражения собственного восприятия жизни слово: “Существовали они только во множественном числе, потому что никогда не ходили по одной, а всегда по две, даже с одним решетом ягод приходили по две, помоложе с постарше, – *чуть-помоложе с чуть-постарше*, ибо были они все какого-то собирательного возраста...” (Там же. С. 92). В подобных контекстах дефисные слова по своей функции приближаются к словам-символам. Они выделяются не для того, чтобы необычной формой привлечь внимание читателей, а чтобы сконцентрировать это внимание на символическом смысле данных слов.

Эстетическую нагрузку несет на себе и подобный окказионализм в романе А.Б. Мариенгофа “Бритый человек”: «Потом задавал себе вопрос: “А хотел бы ты, Мишка, поменяться с Володькой Морозовым – носами? Глянь, какой у него благородный, а у тебя плюха”. И чуть, бывало, не вскрикивал: “Ни-в-жись”» (Мариенгоф А.Б. Бритый человек. М., 1991. С. 10). “Ни-в-жись” – это эмоция. Дефисы помогают выразить ее наиболее экспрессивно: не обезличенное, нейтральное “никогда”, а на едином дыхании скороговоркой выпаленная фраза, сконцентрированная в одном слове.

Отголоски этих экспериментов мы находим в языке современной печати: «...элитинские газеты наполнили письма трудящихся и ветеранов в защиту любимого президента, гневные статьи типа “нас-не-поставить-на-колени” от имени народа» (АиФ. 1998. № 27). “Нас-не-поставить-на-колени” – тоже эмоция, ее пытались усилить, сгустив в одном слове, которое, к сожалению, получилось излишне длинным.

Обратим внимание на то, что рассматриваемые слова – это как бы названия-определения новых “стилей”, “амплуа”, “типажей” и “типов”. Именно эти обобщающие слова стоят перед рассматриваемыми окказионализмами. Но утрата подобными образованиями своих стилистических характеристик приводит к модному, но немотивированному простому называнию слов: «Амплуа “нашего-парня-который-никого-не-боится-и-всем-дает-по-заднице”, по-прежнему актуально» (АиФ. 1999. № 20).

Традиционно в языке отмечались такие понятия, как слова-предложения. Сегодня в языке газеты мы сталкиваемся с предложениями-словами. Не возвращаемся ли мы постепенно в упорном, но, как показывают газетные примеры, часто неоправданном стремлении создавать слова-тексты к истокам письменности, когда все слова писались практически слитно? Но чтобы непременно быть хоть в чем-то оригинальными, современные журналисты предложат нам все слова писать через дефис...



**ВИКТОР
ИВАНОВИЧ
БОРКОВСКИЙ**

1900–1982

Есть в русской науке имена, которые, как ни печально это признать, мы вспоминаем редко, в канун юбилеев, и спустя годы порой забываем сделанное смиренными тружениками отечественной науки. Надеемся, что наш очерк воскресит в памяти достойное имя почтенного ученого, чьи заслуги в филологии несомненны...

Виктор Иванович Борковский родился в 1900 году в Минске, где отец его, Иван Адамович (1855–1905), преподаватель древних языков, незадолго до смерти принял сан священника. В 1918 году В.И. Борковский оканчивает Вторую гимназию г. Кишинева с золотой медалью и в следующем году поступает в Московский университет на историко-филологический факультет. Как написал он позже в своей автобиографии, «в том же году призван на действительную военно-морскую службу и командирован на экономический факультет Хозяйственной академии РККА и Флота. Занятий в университете не прекращал и в частности сделал сообщение на тему “Дуэль и смерть М.Ю. Лермонтова”» (Библиографический указатель по русскому и восточнославянскому языкознанию. Академик Виктор Иванович Борковский. Львов, 1990. С. 3). В 1921 году В.И. Борковский занимает должность помощника начальника отдела Управления высшими морскими учебными заведениями, а в 1921–1922 гг. – он помощник начальника отдела Штаба командующего морскими силами Республики (Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 68. Л. 16 об.).

Тогда же он женится на Наталии Евфимиевне Карской – дочери знаменитого русского академика, исследователя памятников старины, палеографа Е.Ф. Карского.

С рождением в 1924 году сына Анатолия, единственного в семье Борковских, появляются и новые надежды, а любящие тесть и теща – Евфимий Федорович и Софья Николаевна – окружают внука заботой и лаской.

Любопытное свидетельство о годах ученичества В.И. Борковского было найдено в Архиве РАН. Это важное, на наш взгляд, обстоятельство помогает понять, почему он переезжает в Петербург и делом своей жизни принимает филологию.

“Я вошел в семью академика Евфимия Федоровича Карского, еще не поступив в высшее учебное заведение.

Мечтал я о физико-математическом факультете университета или о техническом вузе.

Встреча с Евфимием Федоровичем, беседы с ним о языке и литературе, и в первую очередь – о белорусском языке и белорусской литературе, его горячая убежденность, что филолог нужен Родине не меньше другого специалиста, поколебали мою уверенность в своем призвании.

Я стал филологом и глубоко признателен Евфимию Федоровичу, что избрал этот путь” (Архив РАН. Ф. 1781. Оп. I. Ед. хр. № 8. Л. 1).

В 1923 году В.И. Борковский переводится на этнолого-лингвистическое отделение Петроградского университета, где под руководством опытных преподавателей изучает основы русского и славянского языкознания. Так, сравнительной грамматике славянских языков он учился у академика П.А. Лаврова и профессора М.Г. Долобок, русскому и белорусскому языкам и диалектологии – у академика Е.Ф. Карского. Там же, теперь в Ленинградском университете, он познакомился с будущими академиками В.Ф. Шишмаревым, Л.В. Щербой, С.П. Обнорским, которые неизменно “окормляли” своего питомца, а с последним из них его на долгие годы свяжет дружеское расположение и особое, отеческое внимание Сергея Петровича, которое всегда было чертой интеллигентного ученого старой академической школы.

По окончании университетского курса В.И. Борковский был оставлен на кафедре русского языка для подготовки к профессорскому званию и еще теснее стал общаться с академиком Е.Ф. Карским. В.И. Борковский позже вспоминал: “Евфимий Федорович был строгим учителем (я готовился к профессуре под его руководством), не прощавшим ни малейшей фактической ошибки, не любившим верхоглядства.

Он требовал знания не только восточнославянских языков, но также польского, чешского, сербского и болгарского.

По его мнению, узкая специализация приносит вред филологической науке” (там же).

Первые работы В.И. Борковского появляются уже в 1926 году в сборниках “Рабфак на дому”. Небольшие, но содержательные статьи: “Как говорит и пишет русское население СССР”, “Онимы”, “Синонимы”, “Сравнения”, “Эпитеты” и др. – имели задачу помочь рабочей молодежи, учащимся осваивать родной язык, привить навыки самостоятельного общения со словом. Потому заметки носят научно-популярный характер, но опираются на лучшие образцы древней письменности, в частности, на Лаврентьевскую летопись, статьи М.В. Ломоносо-

ва и т.д. В 1920-е годы В.И. Борковский как раз преподает на рабфаке при Ленинградском сельскохозяйственном институте. Интересная работа и практическое общение со слушателями на несколько лет связали его с этим ежемесячником, где В.И. Борковский был постоянным автором.

В 1930 году В.И. Борковскому присваивают профессорское звание, и он начинает плодотворно сотрудничать в институтах многих городов, успешно сочетая преподавательскую деятельность с исследовательской. Он руководил кафедрами русского языка в пединститутах и университетах в Могилеве (1930–1932), Новгороде (1932–1934), Николаеве (1934–1935), Симферополе (1935–1940), Ярославле (1940–1946), Львове (1946–1950). В эти же годы выходят многочисленные научные труды ученого. Среди них монографическая статья “О языке Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку” (отд. отт. – Л., 1931), “Навыки по орфографии и пунктуации” (М.–Л., 1931), “Смоленская грамота 1229 г. – русский памятник” (Ярославль, 1944), “К истории Смоленского княжества в XIII в.” (рукопись 1945 г.) и некоторые другие.

Необходимость частой смены места работы и жительства была вызвана одним печальным обстоятельством: яркий, живой, с необычными глазами и приветливой улыбкой сынишка Борковских был болен туберкулезом, ему требовались кожный умеренный климат, море, относительно хорошее питание. С начала 1930-х годов Наталия Евфимовна еще некоторое время работала – то библиотечкарем, то учителем рисования и черчения, но все чаще из-за болезни сына и необходимости быть постоянно при нем увольнялась, немало помогая и мужу: печатала его работы, готовила труды к изданию.

В 1938 году В.И. Борковский стал кандидатом филологических наук. (В Архиве РАН сохранилась выписка из протокола заседания Совета Московского государственного педагогического института о присвоении Борковскому В.И. ученой степени кандидата филологических наук без защиты диссертации.)

В довоенные годы ученый работал в Крымском педагогическом институте, заведовал кафедрой русского языка, был деканом факультета языка и литературы. Он выпустил в Крыму ряд интересных работ: “О синтаксических явлениях Новгородских грамот XIII–XIV вв.” (1940), “Русско-татарский терминологический словарь по языку и языкознанию” в соавторстве с А. Ислямовым (Симферополь, 1941). Ученики В.И. Борковского вспоминают: “Исключительно красивый по тембру голос, безукоризненное произношение, подлинный артистизм и увлеченность, блестящая эрудиция молодого профессора создавали в студенческой аудитории атмосферу творческого содружества, научного поиска и радости открытий” (Шелпина О.Е., Ронгинский В.М. В.И. Борковский в Крыму // Изучение творческого наследия акад. В.И. Борковского. Львов, 1990. С. 64). Отдавая много сил общению с молодежью,

В.И. Борковский был для своих студентов не просто преподавателем, профессором или кабинетным администратором, а доступным, доброжелательным и одновременно требовательным учителем и собеседником.

Летом 1939 года В.И. Борковский участвует в диалектологической экспедиции по деревням Ленинградской области. Записи ученого доносят до нас многие интересные языковые подробности тех мест. Просматривая их, мы обратили внимание на тщательность анализа разных языковых уровней, что позволило Виктору Ивановичу осуществить комплексное исследование системы одного говора.

С 1940 года В.И. Борковский работает в Ярославле, где создает межобластной диалектологический кабинет для изучения севернорусских говоров. В Ученых записках Ярославского государственного педагогического института выходят разнообразные по содержанию и богатые фактами работы: “Из наблюдений над языком деревень Вольная Берёзка и Кирилловщина (Лычковский район) и Рыкалово... Ленинградской области” (1944), “Академик Е.Ф. Карский (1861–1931)” (1945), “Героическое прошлое русского народа в изображении А.С. Пушкина” (1945). Две статьи ученого этого периода, указанные нами ранее, – о Смоленской грамоте 1229 г. и о новгородских грамотах, – определили основное направление всей последующей деятельности В.И. Борковского – исторический синтаксис: “Именно благодаря последовательным и настойчивым усилиям В.И. Борковского (...) эта область науки, непопулярная в начале 40-х годов среди историков языка, заняла равноправное место в исторической грамматике русского языка наряду с исторической фонетикой и морфологией” (Морозова С.Е. Виктор Иванович Борковский (1900–1982) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 42. № 2. 1983. С. 189).

После войны В.И. Борковский работает во Львовском государственном университете им. И. Франко, возглавляя кафедру русского языка с 1946 по 1950 годы, и Львовском филиале Института языкознания АН УССР, а также преподает русский язык во Львовском пединституте. Благодарная память об ученом сохранилась в этих местах, и в 1990 году проходила научная конференция во Львове, где были представлены неизветные факты биографии В.И. Борковского львовского периода и, о чем особо хочется упомянуть, выпущен “Библиографический указатель по русскому и восточнославянскому языкознанию” (Львов, 1990) – наиболее полный по настоящее время список трудов ученого и литературы о нем.

Львов действительно оказался тем местом, где научные интересы и творческие искания ученого нашли удачное воплощение и смогли в тяжелейшее для него время (в 1946 году умирает 22-летний сын В.И. и Н.Е. Борковских и мать Наталии Евфимиевны – Софья Николаевна Карская) хоть в какой-то мере отвлечь любимым делом. Как раз во

Львове окончательно определился круг научной проблематики, занимавший ученого без малого почти 50 лет. В 1948–1949 гг. в сборнике “Вопросы славянского языкознания” выходят две части его труда “Синтаксис древнерусских грамот”, изданный сразу же отдельной книгой “Синтаксис древнерусских грамот. Простое предложение” (1949). Материалом исследования послужили древнейшие и более поздние памятники древнерусской письменности (до XVI века включительно), где на основе сопоставлений, анализа синтаксической структуры редких источников автор формулирует принципиальные положения, имеющие весьма далекую историческую перспективу.

Именно эта область лингвистических исследований, а также практическая работа со студентами, позволявшая ученому отшлифовывать теоретические постулаты (во Львове он читает курс “Исторический синтаксис русского языка”), стали основой его дальнейших разысканий, а указанная монография, выпущенная во Львове, была представлена в 1950 году на открытом заседании Ученого совета Института языка и мышления им. Н.Я. Марра и Ленинградского отделения Института русского языка АН СССР в качестве докторской диссертации. По данным Архива ЛГУ, члены Ученого совета единогласно присвоили В.И. Борковскому ученую степень доктора филологических наук.

С начала 1950-х годов научная и общественная деятельность ученого сосредоточивается в Москве, куда он вскоре переезжает для работы в академических институтах. Пожалуй, самым ярким научным достижением В.И. Борковского в это время стало лингвистическое исследование берестяных грамот. Открытие драгоценнейших памятников русской истории и культуры явилось сенсацией в научном мире. Их скрупулезное изучение с точки зрения палеографии, истории и языка предприняли А.В. Арциховский, Р.И. Аванесов и В.И. Борковский. Первая большая коллективная монография, посвященная этому вопросу, называлась “Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот” (М., 1955). Позднее, в 1958–1963 гг., выходит образцовое научное издание берестяных грамот из раскопок в Новгороде 1953–1957 гг. в 3-х томах А.В. Арциховского и В.И. Борковского.

В этот же период появляются многочисленные статьи о языке берестяных грамот, вызвавшие большой научный интерес. Terra incognita русской филологии обратила на себя внимание и зарубежных ученых, живо заинтересовавшихся новаторскими исследованиями. Так, известный английский славист профессор Лондонского университета Уильям Метьюс писал В.И. Борковскому 8 ноября 1955 года: «На днях получил Ваше предварительное письмо, а затем три экземпляра Вами составленной книги “Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот” (М., 1955). Большое Вам спасибо за подарок.

Я намерен написать рецензию на Ваш весьма занимательный труд...» (Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 175. Л. 1).

Особо хочется сказать о В.И. Борковском как редакторе трудов академика Е.Ф. Карского. Под редакцией В.И. Борковского переизданы капитальный труд Е.Ф. Карского “Белорусы. Язык белорусского народа” (вып. 1, 1955; вып. 2–3, 1956), “Труды по белорусскому и другим славянским языкам” (1962) и “Славянская кирилловская палеография” (1979). Участие в этой работе, сверка текстов, исправления и дополнения, отбор и комментирование научных трудов – не было для ученого лишь делом чести, долга и памяти Учителю, когда-то написавшему еще совсем молодому В.И. Борковскому на подаренном 3-м томе “Белорусов”: “В.И. Борковскому от автора для познания своего народа” (Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 8. Л. 2).

Осенью 1958 года в Москве проходил IV Международный съезд славистов. После долгой и вынужденной разлуки в столицу съехались ученые из многих стран и впервые после более чем 30-летнего перерыва смогли открыто обсуждать актуальные проблемы развития славянских языков и литератур в широком историческом контексте. В.И. Борковский был заместителем председателя Советского комитета славистов и принимал самое активное участие в подготовке этого форума: занимался организационными вопросами, вел обширную переписку, принимал вместе с другими ответственными учеными в 1956 году зарубежных славистов, приехавших на совещание Международного Комитета славистов в Москву.

Как раз в те годы, когда хрущевская оттепель принесла глоток свободы измученному организму отечественной науки, к В.И. Борковскому поступали многочисленные запросы с просьбами объяснить то или иное слово, помочь в консультации и т.д. Особенно теплые и доверительные отношения установились у В.И. Борковского с профессором Оксфорда, человеком нелегкой судьбы, нашим соотечественником Борисом Унбегауном. В июне 1956 года он обратился к своему московскому коллеге с интересным вопросом. В письме Унбегаун сообщил следующее: “Один из моих коллег здесь, занимающийся специально изучением Советского Союза, задал мне лингвистический вопрос, на который я не смог ответить. (...) Дело идет о времени появления слова “партийность”. По мнению моего английского коллеги, это слово появилось лишь в тридцатых годах. Я лично был этим несколько удивлен. т[ак] к[ак] думал, что это слово старше, но счел более благоразумным признать свою несведомленность и просить Вас разрешить этот вопрос. (...) За справку буду Вам очень признателен” (Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 181. Л. 2). Примечателен ответ Института языкознания АН СССР, составленный по просьбе его директора В.И. Борковского сотрудниками Словарного сектора А.М. Бабкиным и

З.Н. Котеловой. Оказалось, что сомнения Б. Унбегауна вполне оправданны. Так, по данным картотеки Словаря современного русского языка, «самые ранние употребления слова “партийность” относятся к 1888 (письмо А.П. Чехова к А.Н. Плещееву) и 1895 (письмо В.И. Сурикова к П.Ф. и А.И. Суриковым) гг.» (Там же. Л. 3).

На съезде В.И. Борковский выступил с докладом “Использование диалектных данных в трудах по историческому синтаксису восточнославянских языков” и принял участие в дискуссиях по докладам Б. Гавранека (Чехословакия) и Ф. Ливера (ГДР). В личном фонде ученого в Архиве РАН сохранились свидетельства плодотворных научных связей В.И. Борковского с многими из тех славистов, кто посетил тогда Москву. Тесное многолетнее сотрудничество связывало его с А. Мазоном и А. Вайаном (Франция), А.В. Исаченко (Чехословакия), Борисом Унбегауном и У. Метьюсом (Великобритания), В. Дорошевским и Т. Лер-Сплавинским (Польша), Г. Бильфельдтом (ГДР), Р. Ягодичем (Австрия) и многими другими. С конца 1950-х годов в течение двадцати лет В.И. Борковский был постоянным участником съездов славистов, а его интерес к компаративистике определил и дальнейшее направление деятельности ученого.

С начала 1960-х годов В.И. Борковского увлекают сравнительно-исторические исследования синтаксиса восточнославянских языков. Ученый организовал и до конца жизни был заведующим одноименным сектором в Институте русского языка АН СССР, разработал теоретическую основу и методы изучения синтаксиса близкородственных языков, под его руководством создавалась картотека памятников разных жанров восточнославянской письменности, проводились междисциплинарные исследования, сплотившие вокруг себя молодой и талантливый коллектив единомышленников. Итогом многолетней работы стала монография “Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков” (т. 1–4, 1968–1974), где два тома принадлежат перу В.И. Борковского, а остальные вышли в соавторстве с сотрудниками его сектора.

В.И. Борковский, будучи уже членом-корреспондентом АН СССР и позднее академиком, внес свой вклад в развитие образования. В 1963 году в соавторстве с П.С. Кузнецовым им была опубликована “Историческая грамматика русского языка” (2-е изд., дополненное, 1965 г.), которая оказалась весьма полезным методическим пособием в обучении и преподавании не только в России, но и далеко за ее пределами. Так, давний коллега В.И. Борковского проф. Б. Унбегаун писал ему из Нью-Йорка 6 февраля 1966 года: «Дорогой Виктор Иванович! Спасибо за второе издание Вашей и П.С. Кузнецова “Исторической грамматики”, которую Вы мне так любезно прислали. Приятно видеть, что второе издание выходит так скоро после первого, – доказательство несомненного успеха у книги. Я ее рекомендую тут своим студентам и сам преподаю [главным] образ[ом] по ней” (Там же. Л. 10).

Занятия исторической грамматикой и позже увлекали ученого. В последние годы под его руководством вышла “Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение” (1978), где были показаны результаты большой работы по исследованию синтаксической структуры памятников XI–XVII вв., изданных в последние годы. Среди них: Синайский патерик, Изборник 1076 г., Успенский сборник XII–XIII вв., а также коллекция рукописей московской деловой и бытовой письменности и Вести-куранты 1630–1639 гг. На основе изученных документов авторы подробно проанализировали основные направления развития простого предложения. На страницах этого труда мы признаемся, не без радости нашли и упоминание о забытом, “закрытом” и непопулярном в те годы эмигранте-”антисоветчике” П.М. Бицилли: один из его трудов также не был обойден вниманием авторами книги.

Опубликованная на год позже книга “Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение” (1979) продолжила традицию изучения памятников древней письменности в представленном направлении. Заключительная монография этого цикла (“Структура предложения в истории восточнославянских языков”), развивающая проблематику на ином, более широком фоне, вышла уже после смерти В.И. Борковского, в 1983 году, и интересна тем, что ее авторы смогли проникнуть в те пласты и жанры исторического синтаксиса, которые находились (да и сейчас находятся) на периферии лингвистических исследований.

В.И. Борковский никогда не замыкался на собственно синтаксических и вообще грамматических исследованиях, постоянно находился в поиске новых направлений и источников, порой неожиданных, но тем, наверное, и интересных. Последняя его книга вышла в 1981 году и называлась “Синтаксис сказок: русско-белорусские параллели” (по нашим разысканиям, многие, не менее интересные труды ученого и черновые наброски до сих пор не опубликованы, а они могли бы стать неотъемлемой частью современной лингвистики). Вот одно из таких свидетельств: в Архиве РАН сохранился составленный В.И. Борковским в 1961 году «Проспект и проект “Энциклопедии славянского языкознания”», где были изложены основные направления исследований в области языковой культуры восточных, западных и южных славян. – то, что находит такое яркое выражение в трудах современных исследователей (См., напр.: Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5-ти томах / Под ред. Н.И. Толстого. Т. 1. М., 1995; Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997; Сборник: Восточные славяне. Языки, история, культура. К 85-летию академика В.И. Борковского. М., 1985).

В.И. Борковский занимал крупные административные должности: в 1930–1950 гг. он заведовал кафедрами в вузах страны, в 1950–1954 гг.

был заместителем директора Института языкознания АН СССР, а в 1954–1960 гг. – директором того же института. В.И. Борковский был главным редактором журнала “Русская речь” и вел языковедческую часть в других изданиях. Ученый являлся первым заместителем председателя Советского комитета славистов. В 1958 году В.И. Борковского избрали членом-корреспондентом АН СССР, а в 1972-м – академиком.

В.И. Борковский был разносторонне одаренным человеком. В Архиве РАН сохранились стихотворные юмористические наброски, которые, судя по всему, сочинялись им на бесконечных заседаниях и посвящены были в большинстве случаев своим коллегам. Вот один из них:

Для тихих душ, для бурной лени
Пришли витии в Отделение.
Здесь красноречье не в уроне:
Как говорят, как “цицеронят”!
Но, чтобы небо не коптить,
Нельзя ль немедленно “уйтить”?

К тому же, Виктор Иванович был очень музыкален, обладал большим и красивым голосом, всю жизнь серьезно занимался вокалом и участвовал в концертах. Уже будучи членом-корреспондентом АН СССР, он нередко выступал в Доме ученых с постоянным концертмейстером. Рассказывают, что однажды он шел вместе с И. Козловским. Особенно хорошо В.И. Борковскому удавалось исполнение русских романсов.

В молодости Виктор Иванович получал предложения работать профессионально в театре. Ученый вспоминал, как в голодное послевоенное время, когда вновь появились продукты, которые можно было покупать на деньги, а не получать по карточкам, он подрабатывал концертной деятельностью¹, чтобы улучшить питание больного туберкулезом сына и престарелой тещи, ради которых они с женой во всем себе отказывали.

В.И. Борковский говорил, что свой южный темперамент и музыкальные способности унаследовал от матери – молдаванки. Трудиться будущий ученый начал практически уже с детства. Этому предшествовало одно трагическое событие, которое и объясняет причины столь раннего взросления совсем еще юного мальчика. По рассказам Виктора Ивановича, его отец, человек крепкого сложения и недолгого здоровья, был страхован на большую сумму денег. В 1905 году, когда Виктору шел шестой год, он стал свидетелем страшного зрелища: в соседнем доме возник большой пожар. Потрясенный увиденным, отец внезапно умер. На выплаченную страховку старшие братья В.И. Борковского смогли получить образование и жить длительное время без лишений. Ему же пришлось подрабатывать частными уроками “уже с 6-го класса” (См.: Библиографический указатель... С. 3).

В последние годы Виктор Иванович и Наталия Евфимиевна часто бывали в санатории АН СССР “Узкое”, тогда уже находившемся в чер-

те Москвы, в районе Тешлого Стана. Трогательно одно из последних писем В.И. Борковского своей ученице С.Е. Морозовой от 18 июля 1980 года. В нем есть такие слова: “Погода нас не радовала, но и сейчас не очень хорошая, а в Узком, как Вы знаете, сыро.

Питание удовлетворительное, особенно щедро кормят капустой (...). Одним и тем же щам остроумно дают разные названия, в том числе и французские, и это способствует нашему лингвистическому кругозору.

Следующая тема – комары (Михалков написал пьесу о муравьях, забыв о комарах).

Я искусан, кожа воспалена. Наталья Евфимиевна страдает от них меньше. В комнате на одном и другом окне (любезность администрации) железные сетки. Но существует еще парк. Там комарам раздолье, тем более, что исчезли все птицы, кроме воробьев и ворон. Не помогают ни отпугивающие средства, ни лечащие от аллергии таблетки, мази”² (из домашнего архива С.Е. Морозовой).

В октябре 1982 года он еще работает, отвечает на письма близких друзей, которые, наверное, были едва ли не единственной поддержкой в тягостные минуты. Вдова известного литературоведа из Петербурга М.П. Алексеева Нина Владимировна писала В.И. Борковскому: “Как Вы себя чувствуете, дорогой Виктор Иванович? Михаил Павлович искренно любил Вас, и мне Вы тоже очень дороги. Всегда помню Ваши душевную мягкость и внимание. Постарайтесь не хворать и живите долго – на свете так мало добрых и честных людей” (Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 142. Л. 4 об. В.И. Борковский сделал приписку: “Ответил 30/IX-82 г.”).

Умер Виктор Иванович Борковский в Москве 26 декабря 1982 года.

Лучший памятник ученому – это его школа, его ученики. Одна из учениц – профессор София Петровна Лопушанская создала в Волгоградском университете мемориальный кабинет Виктора Ивановича Борковского, на базе которого ежегодно проводятся чтения, посвященные ученому.

Автор искренне благодарит ученицу акад. В.И. Борковского С.Е. Морозову за большую помощь в написании очерка.

В заключение мы публикуем неизвестные фрагменты переписки ученого с отечественными и иностранными деятелями науки, которые во многом дополняют человеческий и научный облик В.И. Борковского. Все письма издаются впервые с сохранением авторской орфографии и пунктуации (в ряде случаев, где требуется согласование с современными нормами, наши вставки помещены в квадратные скобки). Для удобства воспроизведения писем датировка дается перед текстом. Авторское выделение слов и фрагментов текста (подчеркивание и т.п.) указывается курсивом.

В.В. Виноградов – В.И. Борковскому

[Сочи, Малый Ахун], 1.IX.1952

Дорогой Виктор Иванович!

Спасибо за обстоятельное письмо. Очень рад, что Вы перевезли прах родных в Москву. П.Я. Черных не хотелось бы освобождать от работы в Институте. Несмотря на трудности характера и проч., он ученый почтенный, нужный, и ему смешивать личное и общегосударственное непростительно. Б.А. Серебренникову необходимо обратить особенное внимание на подготовку сборника “Вопросы лексикологии”. Для Сектора культуры речи необходимы живые, трудоспособные и творческие кадры. Кроме того, вокруг Сектора хорошо бы сплотить актив ревнителей чистоты русского языка. Тут нужно дело и нежелательны разные “комбинации”. Если готовите план работы Ученого Совета, то пришлите проект мне. Я буду в Малом Ахуне до 15 сентября. Решил никуда не выезжать отсюда, так как мне прислали сюда корректуру университетского курса “Совр[еменного] русского языка”³. Следовательно, разъезжать нельзя. И послеобеденное время вплоть до ужина я целиком отдаю работе. До обеда – море и прочее. В Москве буду 18-го (...)

Привет Наталье Ефимовне. Пишите. Кланяйтесь Бор[ису] Алекс[андровичу].

Ваш В. Виногра[дов]

Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 152. Л. 1. Автограф.

С.П. Обнорский – В.И. Борковскому

[Москва], 3 октября 1952

Дорогой Виктор Иванович!

Я только что получил Ваше письмо.

Во-первых – оглавление⁴. Правда, я всегда сдавал перед этими вещами. Пусть будет, как будет. Хотите – короткое (мое?) заглавие, хотите – более полное. Я в этих делах голоса не имею.

Во-вторых – “многоуважаемый”*. Я и сейчас ошибся! Считайте, что для меня это холодная форма и больше ничего. Иначе я и сейчас не ошибся бы. Ведь, как Вы пишете, у нас в прошлом длинное знакомство. А я вообще неравнодушно относился и к Евф[имию] Фед[оровичу], и к Софье Ник[олаевне], вообще к дому Карских. Сказать ли Вам, что я, когда был в Ленинграде, постоянно по воскресеньям бывал на Смоленском кладбище – на могиле матери, близко от нее – Шахматова и – Евф[имий] Фед[орович]. Не знаю что, но что-то было притягивающее. И теперь, когда я буду в Л[енингра]де, обязательно там буду...

Поэтому не обращайтесь на “многоуважаемого”. Это для

*Письмо открывалось фразой: “Многоуважаемый Виктор Иванович!” В автографе первое слово зачеркнуто, сверху написано: “Дорогой”.

меня просто привычная форма. Да и о чем думать? Я вообще ушел из Института и сохранил хорошее воспоминание только о В.И. Борковском. И я этого в разговорах не скрывал.

Поэтому не думайте об этих вещах, а думайте только об одном: как бы возможно лучше отдохнуть.

У меня засиделась за чаем И.Б. Кузьмина. Говорила об отце, об акад. Прянишникове (я с ним был долго в Узком), о Вас. О Вас говорила, что Вы себя не бережете и т.д. Вообще говорила то, что и я знал, лучшие вещи о Вас. Берегите себя! Я тоже вот никогда ничем серьезным не болел, а вдруг трах...

Отдыхайте и отдыхайте, а больше ни о чем не думайте.

Привет Нат[алье] Евф[имиевне], которая тоже, забыв городскую сутолоку, и сама пусть придет в себя и Вас настроит на один отдых.

Я сам собираюсь в Кисловодск – не лечиться, а просто отдыхать.

Ваш С. Обнорский

Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 177. Лл. 1–1 об. – 2–2 об. Автограф.

С.П. Обнорский – В.И. Борковскому

[Москва], 3.III.1953

Глубокоуважаемый Виктор Иванович!

Пишу Вам по бытовому вопросу. Я недавно из Ленинграда. Там было громкое дело. Дочь какого-то именитого врача (профессора как будто), студентка, 18 лет, взяла ванну, а потом, для ускорения хотела обсушить волосы электрическим прибором (Вы его знаете?), но неудачно что ли. И это вызвало моментальную ее смерть. Я вспомнил, что у Вас в ходу электробритва. Будьте с ней осторожны. Там вообще ничего опасного нет. Но мне говорили, что все это произошло от влаги, от соединения чего-то (в приборе) с влагой. Поэтому на всякий случай, если Вы пользуетесь электробритвой, следите, чтобы влажного ничего при этом не было.

Я все об этом хотел Вам дать знать.

Привет Наталии Ефимовне.

Ваш С. Обнорский

Там же. Лл. 7–7 об. Автограф.

С.П. Обнорский – В.И. Борковскому

[Москва], 6 февраля 1956

Глубокоуважаемый Виктор Иванович!

Очень благодарю Вас за экземпляр Карского⁵. Для Белоруссии все это так важно. Но, конечно, и шире. Издания такого рода вообще поднимают у нас рост знаний по самому русскому языку. Здесь так много фактического, необходимого и для русиста.

Вы умело объединили в книге и морфологию, и фонетику, а также палеографию, где таким мастером был Е.Ф. Карский. {...}

Примите мою живейшую благодарность. Это ведь лучшая память об Евфимии Федоровиче.

Нат[алии] Ефимовне кланяюсь. Она, наверное, довольна. Издание Ваше ведь есть подарок также ей.

Ваш С. Обнорский

Там же. Лл. 16 –16 об. Автограф.

W.K. Matthews – В.И. Борковскому

8-го ноября 1955 г.

Глубокоуважаемый коллега!

На днях получил Ваше предварительное письмо, а затем три экземпляра Вами составленной книги “Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот” (М., 1955). Большое Вам спасибо за подарок. Я намерен написать рецензию на Ваш весьма занимательный труд и поместить ее в S.E.E.R.⁶

По Вашему желанию, сегодня отправил по экземпляру Вашей книги проф. С.А. Коновалову (4 Oriel Street, Oxford) и проф. Елизабете Хилл (10 Croft Gardens, Barton Road, Cambridge). Последняя все еще находится в Белграде, потому что в этом академическом году она в отпуске.

Кстати, в ближайшем будущем у нас ожидаются гости из СССР, а именно Ректор Московского университета и проф. Н.К. Гудзий.

С приветом и наилучшими пожеланиями

уважающий Вас W.K. Matthews (В.К. Метьюс)

Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 175. Лл. 1–1 об. Автограф.

W.K. Matthews – В.И. Борковскому

21-го февраля 1956 г.

Глубокоуважаемый коллега!

На днях получил от Вас посланный Вами пакет, в котором нашел великоценное издание книги Е.Ф. Карского “Белорусы”, вместе с экземпляром “Докладов и сообщений Института языкознания” и оттиском Вашей очень интересной статьи⁷. Выражаю Вам глубокую благодарность за внимание и книги.

Белорусская часть моей библиографии теперь пополнилась капитальным трудом, который даст мне возможность серьезно заниматься этим языком в будущем.

С наилучшими пожеланиями и искренним уважением

W.K. Matthews

Там же. Л. 2. Автограф.

В. Кипарский – В.И. Борковскому

Helsinki, 8-го июня 1956 г.
Meritullinkatu 11 A 12

Господину
Директору Института языкознания
Академии Наук СССР,
Проф. В.И. Борковскому,
Москва, Волхонка, дом 18/2

Глубокоуважаемый коллега!

Посылаю Вам свою только что вышедшую статью о “Русских названиях паровоза и парохода” и автореферат моего доклада в здешнем Историческом обществе. Надеюсь, что Ваш коллега проф. Б. Серебренников, который, как мы здесь удостоверились, отлично понимает по-фински, сможет перевести Вам содержание реферата. В нем есть кое-что новое, между прочим, объяснение имени *Игуморо*. Следует читать *и Гугморо*, причем последнее *о* стоит, как во многих новгородских грамотах этой эпохи, вместо *ь*. *Гугморъ* – это финское *Huhmar* (по-карельски *Humbâr*) “ступка”, которое очень часто встречается в Финляндии и Карелии как имя собственное и как фамилия. Финское *h*, как известно, часто воспроизводилось в заимствованных словах (напр., *гир-вас*, *гарьюс*, *горма*, *галли* и др.) и в именах собственных (в старой транскрипции) как *х*. – Финскому *а* часто соответствует русское *о*.

Очень надеюсь, что смогу получить дальнейшие издания берестяных грамот, которые, может быть, помогут нам решить многие запутанные проблемы славяно-финских отношений.

С сердечным приветом, также от жены, и от профессора Романа Яacobсона, который посетил нас на обратном пути из Москвы и был совершенно в восторге от Вас. По его выражению: “Борковский – рубаха-парень”.

Уважающий Вас

В. Кипарский

Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 164. Лл. 1–1 об.
Авторизованная машинопись с подписью В. Кипарского.

J. Németh – В.И. Борковскому

Будапешт, 18 июля 1956 г.

Глубокоуважаемый и дорогой коллега!

У Вас наверняка много работы, у меня также, и я не мешал Вам письмами, а все-таки я думаю, что в знак дружбы и благодарности я уже должен Вам писать. Уже прошел год, как я расстался с Москвой, но не совсем незначительная часть моего сердца осталась там.

Я думаю, что Вы не имели неприятностей по поводу печати Вашей статьи⁸. Мой технический редактор, Д. Фукс, крупный ученый и тща-

гельный сотрудник. Ваша статья очень нравится всем венгерским языковедам, с которыми я о ней говорил.

Мне очень жаль, что я не имел чести посетить Вас в этом году и работать еще несколько месяцев в Ваших библиотеках. Человек работает по возможностям. Осенью я начну обработать свой труд о советской тюркологии. Я в трудном положении. И субвенция нашей Академии уменьшилась.

В середине августа я уеду в Албанию. Я много занимался турецкими говорами Балканского полуострова и Албания образует еще для тюркологов большой пробел. В конце сентября я перелечу из Тираны в Софию, чтобы принять участие на болгарско-венгерской “научной неделе”.

Извините мои языковые ошибки. Большой привет Вашей супруге и Всем и желаю Вам всего хорошего.

J. Németh

Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 176. Лл. 2–2 об. Автограф.

А.В. Исаченко – В.И. Борковскому

Оломоуц, 2 января 1957 г.

Глубокоуважаемый Виктор Иванович!

Большое Вам спасибо за внимание и за чудесный подарок. Второй и третий том “Белорусов” пришел очень кстати. Не знаю, чем и как Вас отблагодарить. Придется подождать до появления в свет второго тома моего словацко-русского словаря (правлю корректуры).

Надеюсь, Вы получили приглашение от Ч[ехо]сл[овацкой] Академии и что приедете в марте–апреле. Акад. Гавранек обещал все устроить по Вашему желанию.

Мы здесь готовимся к славистической конференции в январе. Должны приехать Роман Осипович и многие другие слависты, которых я не видел больше десяти лет.

Очень хотелось бы приехать к Вам, но только [не] на три дня, как в прошлый раз, а на месяц–два. Ведь здесь без материалов довольно трудно работать.

Примите от меня самые искренние пожелания в Новом Году!

Глубоко Вас уважающий

А. Исаченко

Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 160. Лл. 1–1 об.

Авторизованная машинопись с подписью А.В. Исаченко.

Д.Б. Кабалевский – В.И. Борковскому

20 авг[уста] 1960 г.

Дорогой Виктор Иванович,

Спасибо за память, за добрый пример и за стихи. Больше всего понравилась мне “Дорога” Ив. Рядченко. “Ручей” и “Обелиск” показа-

лись несколько надуманными. Уж очень простовата в них мысль, чтоб ее можно было заключать в такую “философски-поэтическую” форму. Надуманными показались мне стихи Коньшевой “Когда на башне”. Впрочем, б[ыть] м[ожет], это только первое впечатление. Сейчас я безумно занят всяческими делами, обрушившимися на меня после того, как я, наконец, обосновался в Москве (после Ореанды мы с Машенькой пожили несколько дней в Артеке; потом я вторично летал из Москвы в Артек на 35-летие лагеря; а потом еще ездил в Ригу, где дирижировал двумя авторскими концертами). Как только распутаюсь с самыми неотложными делами, возьмусь за эти стихи и попробую “поколдовать” над ними – м[ожет] б[ыть], что-нибудь и получится.

Шлю Вам и Наталии Ефимовне свой привет и самые добрые пожелания. Я с удовольствием вспоминаю, Виктор Иванович, как мы с Вами в Ореанде помузыцировали. Жаль только, что мало.

С искренним уважением

Д. Кабалевский

Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 162. Лл. 1–1 об. – 2. Автограф.

Г. Jacobsson – В.И. Борковскому

Гетеборг, 7-го октября 1965 г.

Профессору В.И. Борковскому
Институт русского языка
Академии Наук СССР
Москва Г-19
Волхонка, № 18/2.

Дорогой коллега!

Я был очень рад возможности лично познакомиться с Вами на заседании Международного комитета славистов в Вене и только сожалею, что мне не представилась возможность с Вами обсудить некоторые вопросы, относительно которых Вы, благодаря Вашей выдающейся компетентности, могли бы дать мне ценные советы.

Уже несколько лет занимает меня проблема о деспричастиях в славянских языках, и естественно, что я в Ваших исследованиях русских грамот нашел многое, что весьма помогло мне при этой работе.

Разрешите мне приложить к этому письму несколько отписок моих работ.

С сердечным приветом

(Гуннар Якобсон)

Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 189. Л 1. Авторизованная машинопись с подписью Г. Якобсона.

А. Gallis – В.И. Борковскому

Осло, 7.II.1966 г.

Глубокоуважаемый профессор В.И. Борковский!

Благодарю Вас сердечно за Вашу и Кузнецовскую “Историческую грамматику”¹⁰, так любезно присланную Вами. Очень рад, что теперь и сам владею этой отличной книгой, уже приносящей мне много пользы.

После Москвы я провел очень хорошее, интересное время также в Ленинграде и в Вильнюсе. В Ленинграде нашел немало материала для моего “беспредложного дательного падежа направления”. Как наш Булахов, у него есть для меня кое-какие примеры этого рода из белорусских говоров? Как его адрес?

Сердечный привет и наилучшие пожелания Вам и всем коллегами в Институте и вне его.

Ваш Арнэ Галлис

Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 154. Л. 1. Автограф.

W. Doroszewski – В.И. Борковскому

[Варшава] 25.XII.1967

Дорогой и глубокоуважаемый Виктор Иванович,

Во-первых, поздравляю Вас с избранием в Герм[анскую] Ак[аде-мию] наук* и присуждением степени почетного доктора (известие об этом я получил лишь на днях, так как меня не было в Варшаве), во-вторых, плюю Вам и Наталье Ефимовне (ножиком часто пользуюсь) от жены и от себя самые сердечные пожелания к Новому Году и самый сердечный привет.

Ваш В. Дорошевский

Архив РАН. Ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 157. Л. 1. Автограф.

W. Doroszewski – В.И. Борковскому

[Варшава] 23.XII.1969

Глубокоуважаемым и дорогим Виктору Ивановичу и Его Супруге** плюю сердечный привет и желаю много счастья в Новом Году.

Witold Doroszewski

Там же. Л. 3. Автограф.

* Тут Вы меня “переплюнули” (надеюсь, Вас не возмущает это выражение): степень почетного д-ра Ун[иверситета] им. Гумб[ольдта] у меня есть (сноска В. Дорошевского. – *О.Н.*).

** Я боялся перевернуть имя-отчество, но вспомнил: Наталья Ефимовне. Не взывайте, Наталья Ефимовна! А то сочту своим долгом пронзить себя Вашим ножиком, ввиду же его размеров пришлось бы рукодействие повторять несколько раз, а самурайской выдержки у меня нет (сноска В. Дорошевского. – *О.Н.*).

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ В Архиве РАН мы обнаружили документальное свидетельство: "Выписка из протокола Управления по делам искусств при Совнарком СССР об оплате выступления концертного исполнителя В.И. Борковского от 14 июля 1945 г. (ф. 1781. Оп. 1. Ед. хр. № 81).

² В.И. Борковский был болен лимфолейкозом, и многие европейские ученые старались помочь ему, привозили из-за границы новые лекарства.

³ Виноградов В.В. Современный русский язык. Курс лекций. М., 1952.

⁴ В.И. Борковский редактировал монографию С.П. Обнорского "Очерки по морфологии русского глагола" (М., 1953).

⁵ Имеется в виду переиздание труда Е.Ф. Карского "Белорусы. Язык белорусского народа" (Вып. 1. М., 1955; вып. 2-3. М., 1956).

⁶ Рецензия на указанный труд была помещена в журнале "The Slavonic and East European Review" (vol. 35, № 85, июнь 1957 г. С. 608-610).

⁷ См.: Борковский В.И. Союзы при однородных членах в древнерусских грамотах // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР, вып. 8. М., 1955. С. 42-68.

⁸ Имеется в виду статья В.И. Борковского "Stand und Aufgaben der Erforschung des Russischen in der Sowjetunion". См.: Acta Linguistica Academiae scientiarum hungaricae, t. VI, fasc. 1-3. Budapest, 1956. С. 53-83.

⁹ См.: Németh J. Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens. Sofia, 1956 (Bulgarische Akad. Der Wissenschaften).

¹⁰ См.: Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 2-е изд. М., 1965.

Вступительная статья, публикация писем
и комментарии
О.В. Никитина

За последнее десятилетие значительно возрос интерес к историческому прошлому России. Появилось много изданий древнерусских памятников – первоисточников познания материальной и духовной жизни, культуры средневековой Руси. Без словаря древнерусского языка читателю, неспециалисту, трудно понимать тексты. А такой словарь есть. Он выходит в свет вот уже четверть века, но, к сожалению, не всем знаком, да и тираж у него слишком “академичен”.

25 лет мы имеем возможность раскрывать мир средневековой Руси при помощи “Словаря русского языка XI–XVII вв.”, выпуск которого осуществляет Отдел исторической лексикологии и лексикографии Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Этот Отдел основан в 1981 году Г.А. Богатовой, которая является в настоящее время главным редактором Словаря.

В канун юбилея Словаря и выхода в свет его 25-го тома Г.А. Богатова и ее коллеги Л.Ю. Астахина, Е.И. Державина рассказывают нашим читателям об истории создания Словаря, непосредственных участниках этой работы, а также о материалах, на основе которых делается ценнейший документ истории русского языка.



Словарь русского языка XI–XVII вв. – фундаментальный труд XX века

Г.А. БОГАТОВА,
доктор филологических наук

Закончился объявленный ЮНЕСКО, последний в XX веке цикл: Десятилетие культуры. Была создана программа “Память мира”, направленная на спасение культурных сокровищ мира, в том числе рукописных собраний. Возникли программы “Память Франции”, “Память Америки”. В Москве, в РГБ создали программу “Память России”.

В эти годы в жизни Института русского языка Академии наук состоялись два знаменательных события. Первое – Институт получил право назвать имя академика Виктора Владимировича Виноградова в своем титуле, о чем журнал “Русская речь” уже писал. Второе – в Институте появилась программа “Историческая память России”. Эти два события не связаны между собой лишь на первый взгляд. А ведь именно по ини-

циативе В.В. Виноградова Москва стала центром подготовки исторических словарей. Колесо истории не может остановиться. Назрело время и для программы.

Из четырех частей программы две составляют ее сердцевину, для них 2000-й год юбилейный.

Первая часть связана со “Словарем русского языка XI–XVII вв.”, первый выпуск которого вышел в свет в 1975 году.

Этот Словарь сразу вошел в спокойное издательское русло. В.В. Виноградов создал благоприятные условия для развития организационного таланта первого его главного редактора члена-корреспондента АН СССР С.Г. Бархударова. Благодаря следующим главным редакторам – члену-корреспонденту АН СССР Ф.П. Филину и академику АН СССР Д.Н. Шмелеву, а также коллективу его авторов и составителей Словарь стал полнее и корректнее. Члены Отделения литературы и языка РАН, директора Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН всегда понимали масштаб этого издания и знали его историю.

Академия наук ранее носила название “Императорской Академии наук”, она состояла из I Отделения – естественных наук, II Отделения – русского языка и словесности, которое возникло на базе Российской академии наук, основанной Е.Р. Дашковой, и III Отделения – филологии и истории, где были все прочие языки и история, а также расцвело наше востоковедение. Отделение русского языка и словесности, в отличие от всех других было отделением бессребреников, члены ОРЯС не получали материальной поддержки со стороны правительства и поэтому не были столь зависимыми от мнения, желания и воли императорской власти. Но Отделение было одно из самых авторитетных в Европе.

В 20-е годы XX века Академия наук была реорганизована, Отделение русского языка и словесности было ликвидировано, а всю Академию разделили на две части: общественную и естественнонаучную.

В архиве лингвиста М.Н. Сперанского сохранилось письмо-протест 11 академиков против разрушения Академии наук и уничтожения Отделения русского языка и словесности: “Это значит еще в одном месте вычеркнуть русское имя, как оно было вычеркнуто из названия государства”. В архиве оно представлено в разных вариантах, вероятно, каждый ученый писал свой.

Опасаясь за судьбу будущего словарного начинания, академик А.И. Соболевский предложил создать Комиссию по собиранию материалов для древнерусского словаря и первым внес сто тысяч своих карточек, тем самым положив начало созданию Картотеки древнерусского языка. 22 сентября 2000 года исполняется 75 лет со дня основания нашей Картотеки. Кстати, КДРС является второй частью программы “Историческая память России”.

“Словарь русского языка XI–XVII вв.” (предположительно 35-томный) – фундаментальный труд XX века в области исторической русистики, титульное издание Института русского языка им. В.В. Виноградова. Он документирует на своих страницах исторический путь народа, его духовный облик и материальную культуру. Это своеобразный барьер на пути утраты национальных духовных ценностей и исторической памяти народа. Словарь стоит в ряду изданий, обеспечивающих восточнославянский фон нашей истории. Вместе с Историческим белорусским (XV–XVIII вв.) и Староукраинским (XVI–XVII вв.) словарями он препятствует языковому разобщению и этническому отчуждению трех близкородственных славянских народов.

“Словарь русского языка XI–XVII вв.” как посол доброй воли стоит на полках всех европейских университетов и институтов славистики, удерживая интерес к России, к русскому языку и пробуждая уважение к русской истории и письменности.

На протяжении четверти века усилиями авторского коллектива и коллектива издательства “Наука” обеспечивалось планомерное, без сбоев ежегодное издание словаря, что в настоящей ситуации вызывает удивление и восхищение у иностранных специалистов. Словарь имеет положительную прессу, российскую и зарубежную.

В Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, в авторско-составительский коллектив регулярно поступают изданные за рубежом русские памятники письменности, чтобы при формировании очередных томов Словаря и подготовке их к печати мы смогли учесть все находки и научные разработки по истории слов. Еще теснее связь с российскими специалистами, которые на местах издают памятники письменности, делают региональные историко-диалектные словари. Они так же передают свои материалы в наш Словарь и очень нуждаются в общерусском ориентире, каковым он для них является.

Особо следует остановиться на роли уникального авторского коллектива, почти 40 лет работающего над Словарем. Кстати, по европейским нормам, подобные словари создаются раз в столетие: в среднем работа над ними ведется от 50 до 75 лет. Можно представить, какими силами делаются фундаментальные словари на Западе, если над простым двухтомным словарем современного (!) английского языка в 30-е годы работали шесть штатных сотрудников, 14 редакторов и 40 консультантов!

Теперь соотнесем это с условиями работы над “Словарем русского языка XI–XVII вв.”, к тому же историческим, где основная масса материала XV–XVII веков вообще лексикографически обрабатывается впервые. Коллектив из 16 сотрудников в 1975 году сократился до 10 в 1999. Но за этот период в Отделе защищено восемь кандидатских и шесть докторских диссертаций. Коллектив наряду с этим овладел и электронными методами работы. Теперь мы стремимся сохранить

двухмиллионную рукописную древнерусскую картотеку на машинах, предоставленных ЮНЕСКО для проекта “Память мира”.

При Отделе создан лексикографический семинар для подготовки специалистов; занятия ведут наши сотрудники на общественных началах; они же работают и со студентами Государственной Академии славянской культуры, аспирантами, выпускниками педагогических вузов.

Что касается историко-культурной значимости словарей, их роли в формировании государственной политики, национальной идеи, полезно вспомнить о другом, еще живом в нашей памяти символическом акте. Понимая, какую идею национального и государственного единения несут в себе словари, аккумулирующие историческую память народа, Берлинская и Геттингенская академии в послевоенной, побежденной, разрушенной и расколотой Германии обратились к завершению Исторического немецкого словаря, начатого еще братьями Гримм в 1852 году, и завершили его на 380-м томе в 1960. Дальнейшую историю Германии мы знаем.

Двадцатипятилетие издания не повод для “раздачи венков и писания панегириков”, и все же хочется привести строки из журнала “Palaeoslavica”, выходящего в США: “Существенно изменился мир. Изменился и научный “рынок”, и не в благоприятную для серьезной науки сторону. Словарь же продолжает выходить с неумолимой поступательной последовательностью, становясь от тома к тому полнее и корректнее. Продолжать не замечать вложенные в Словарь информацию и труд становится всё рискованней, ибо – хотим мы этого или не хотим – но не все словари такого рода и объема ложатся в фундамент филологической культуры, современное состояние, которой в целом (а славистики и русистики, в особенности) далеко не блестящее. Много ли сыщется в анналах этих наук предприятий подобного масштаба?” (Palaeoslavica. 1999. № VI. P. 253).



ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ РУКОПИСНОЙ КАРТОТЕКИ

Л. Ю. АСТАХИНА,
кандидат филологических наук,
Е. Ю. ДЕРЖАВИНА,
кандидат филологических наук

“Наука движется не одними академиками, а совокупностью сотен и тысяч лиц, стоящих вне Академии, но объединенных какой-либо силой, какой-либо идеей, внутренней и внешней”. Эти слова, написанные в 1923 году академиком В.М. Истриным, справедливы и сейчас, когда подготовлена к печати книга о работе скромных тружеников науки, которые в течение длительного времени участвовали и участвуют в создании бесценного фонда по истории русского языка – Картотеки древнерусского словаря (КДРС).

Под этим названием получила она всемирную известность. За последние двадцать лет на ее материалах разрабатывалось около пятисот научных тем, и не только по истории языка, но и по этнографии, истории математики, физики, географии, медицины, юриспруденции, по литературоведению и другим вопросам, связанным с прошлым России. Из 89 городов нашей страны и из 16 государств приезжали ученые, чтобы работать с материалами Картотеки ДРС. А в создании ее участвовало 280 человек! Все – от академика до студента – внесли свою лепту в это большое дело.

В 1925 году академик А.И. Соболевский предложил свои 102 тысячи выписок из различных русских рукописей XVI–XVII веков (он работал с ними в архивах Москвы), чтобы создать фонд для продолжения дела академиков И.И. Срезневского (автора Материалов для словаря древнерусского языка, вышедших в трех томах в 1912 году) и А.Х. Востокова (автора “Словаря церковнославянского языка”, вышедшего в двух томах в 1858–1861 годах). Для того чтобы можно было составить словарь языка Московской Руси по памятникам письменности

XV–XVII веков – времени, еще не отраженного русской лексикографией. Выписки А.И. Соболевского позволяли начать сбор материала для составления словаря русского языка по источникам XV–XVII веков, также не получившим отражения в лексикографии.

Задумано было широко, научные силы для этого были как в Академии, так и вне ее. Но только в 1975 году вышли из печати первые два тома “Словаря русского языка XI–XVII вв.” (буквы А–Б) и Указатель источников. Что же случилось за эти 50 лет? Что мешало осуществиться плану академика А.И. Соболевского? Что помешало издать “Словарь древнерусского языка XV–XVIII вв.”, о котором писал профессор Б.А. Ларин в “Проекте древнерусского словаря” в 1936 году? Ведь в “Проекте” впервые в России были определены теоретические основы будущего словаря и вынесены на широкое обсуждение. Можно было избежать многих ошибок, найти верный путь, подходящие параметры составляемого словаря. Словарь же должен был содержать не только толкование соответствующего слова, но и давать конкретно-исторический комментарий, освещать вопросы истории и материальной культуры через описание слова; в нем составители намеревались дать иллюстрации, так как иногда внешний облик вещи, обозначаемой словом, есть самое лучшее его толкование. Словарь предполагалось составить из 8 томов по 100 печатных листов каждый и опубликовать его полностью в 1945 году. Картотеку же нужно было довести до 1 миллиона выписок – в 1934 году их в ней было чуть более 145 тысяч.

Было много причин, много событий, объективных и субъективных, которые воспрепятствовали осуществлению благих побуждений ученых.

Сохранились такие документы, как Дневник занятий сотрудников ДРС и Тетрадь поступлений материалов в картотеку, которые вел Б.А. Ларин. В Дневнике бьется пульс жизни и труда постепенно сформировавшегося коллектива ДРС. Видно, как со временем ужесточались условия работы: начальники отделов должны были писать докладные записки об опоздавших, а из-за прекращенного финансирования и увольнения всех внештатных (в штате оставался только секретарь “Комиссии по собиранию материалов по древнерусскому языку” Б.А. Ларин) сотрудников свертывались работы по пополнению картотеки. Останавливалась работа над древнерусским словарем, и пришлось в 1938 году начинать “краткий исторический словарь” учебного характера. Неоднократно менялись хронологические рамки словаря – и многое, многое другое...

В Тетради поступлений материалов, которую вели до 17 августа 1941 года, записывалось, кто, когда, из какого памятника, рукописного или опубликованного, сколько карточек сдал в Картотеку ДРС и сколько рублей и копеек за это получил. Считать было легко: получали по 10 копеек за карточку. Только позднее произошла дифференци-

ация в оплате: за цитаты из переводных рукописных памятников, находящихся в библиотечных фондах, да еще с греческими параллельными выписками из оригиналов, могли заплатить до 55 копеек за карточку.

Тетрадь поступлений в какой-то мере позволяет ответить на вопрос: чья это карточка, кто автор фонда по истории русского языка, из которого можно черпать и черпать еще долгие годы: ведь в создаваемый на его основе “Словарь русского языка XI–XVII вв.” (Далее – СлРЯ XI–XVII вв.) попадает лишь четверть накопленного материала. Судьбы ученых тесно сплетаются с судьбой России. Так, студенты, окончившие Герценовский пединститут в 1941 году, сдавшие по несколько тысяч карточек, уходили на фронт – и судьбы их терялись на дорогах войны.

А о Василии Максимовиче Верюжском в Тетради поступлений нет ни одной записи. Он работал тайно, такая тогда была обстановка в стране. Профессор Петербургской духовной академии, входившей в Славянскую комиссию, В.М. Верюжский работал с русской Библией, составленной при дворе новгородского архиепископа Геннадия в 1499 году. Он приводил на карточках параллельные выдержки из греческого текста.

Только по почерку определила Стелла Федоровна Геккер, сотрудница Группы ДРС, сформировавшая Указатель источников Картотеки, чьи это выписки. По-видимому, работу ему давал Федор Иванович Покровский, который тоже работал с текстом Генн. Библии. Скорее всего, в то время это было единственным средством к существованию профессора В.М. Верюжского: он сделал много карточек, выписывал цитаты почти на каждое слово. В Тетради же поступлений написано, что выписки из Библии сдавал только Ф.И. Покровский. Жаль, что не удалось отыскать потомков – сыновей Ф.И. Покровского, а дочь его Вера Федоровна, известный библиограф, скончалась несколько лет тому назад. Возможно, они рассказали бы много неожиданного и важного.

Зоя Николаевна Савельева, дочь Николая Васильевича Тимофеева, сотрудника Ленинградского отделения Института истории, была привлечена отцом к расписыванию труднейших скорописных памятников XVII века. Впоследствии она участвовала в публикации рукописей первого русского историка Василия Никитича Татищева. А ее дочь, Елена Алексеевна Савельева, – сотрудник Отдела редкой книги Библиотеки Академии наук в Санкт-Петербурге. Три поколения трудятся на благо науки о языке!

История создания картотеки для составления Словаря древнерусского языка, как мы уже говорили, берет свое начало в далеком 1925 году, когда академик А.И. Соболевский возглавил работу по ее созданию. С тех же 20-х годов начинается история создания Указателя источников. Тогда же А.И. Соболевский и М.Н. Сперанский начали работу по определению круга источников для картотеки и в будущем для словаря древнерусского языка, из которых предполагалось выписыв-

вать цитаты (данные об истории Картотеки ДРС и Словаря почерпнуты из статьи О.И. Смирновой “Картотека древнерусского словаря (ДРС) // Лингвистические источники. Фонды Института русского языка. М., 1967). “В работе по определению круга источников, в выборке цитат из них для Картотеки ДРС, а также в обсуждении программы исторического словаря принимали участие крупные специалисты – историки, архивисты, литературоведы” (Указатель источников (серый) 1975 г. Составлен: С.Ф. Геккер; дополнен: С.П. Мордовиной и Г.Я. Романовой). Ученых такого уровня вряд ли в ближайшее время удастся объединить для создания подобной картотеки. Поскольку к тому времени уже были полностью изданы “Материалы для словаря древнерусского языка” И.И. Срезневского, в которых главное внимание уделялось лексике памятников письменности XI–XIV веков, первоначально было решено сосредоточиться, в основном, на лексике памятников XV–XVII веков.

В 1934 году после А.И. Соболевского и М.Н. Сперанского руководство группой древнерусского словаря было поручено Б.А. Ларину. К моменту начала составления словаря Б.А. Ларин предполагал проработать несколько тысяч источников, относящихся к XV – началу XVIII веков. Первый напечатанный список источников вышел в книге Б.А. Ларина “Проект древнерусского словаря. Принципы, инструкции, источники” (М. – Л., 1936). К началу 1936 года было расписано около 700 источников. Список источников для работы на 1936–37 годы содержит в подавляющем большинстве поздние материалы: XVII – начала XVIII веков. Это и “Артикул воинский с кратким толкованием” (СПб., 1715), и “История о рыцаре Гендрике и преизящной Меленде” (рукоп. БАН 19.2.38), “Обстоятельные и верные истории двух мошенников, Ваньки Каина и Картуша” (СПб., 1793), “Записки В.А. Нащокина”, “Материалы по истории раскола”, изданные Н. Субботиным. Вошла в план работы также выборка из так называемой фоновой литературы – из сказок, сочинений русских писателей (В.К. Третьяковский. Езда в остров любви), произведений фольклора (Русские песни, собранные Рыбниковым, Собрание русских песен – БАН 17.16.37), диалектных словарей. Далеко не все стоящие в плане перспективных работ источники были расписаны для картотеки.

СлРЯ XI–XVII вв. первоначально был задуман как научно-популярное справочное издание в трех томах (общим объемом в 450 а.л.) под названием Малый древнерусский словарь (МДРС). Работы над ним начались в 1963 году. К моменту окончания авторской работы над т. I “А–З” (180 а.л.) стало ясно, что словарь не сможет при задуманном объеме отразить основное достоинство картотеки – богатство словника при жесткости многих правил отбора лексики” (Богатова Г.А., Чернышева М.И. Об организации дополнений к Словарю русского языка XI–XVII вв. // Теория и практика русской исторической лексикографии. М., 1984).

Позднее, в то время, когда задумывался первый пробный вариант Малого древнерусского словаря, над созданием Указателя работали Б.А. Ларин и С.Ф. Геккер.

На базе картотеки составляется Словарь, в котором не содержатся (за некоторыми исключениями) памятники начала XVIII века, однако список его источников пополняется за счет изданных в последнее время памятников письменности (в свою очередь не представленных в КДРС). В Указателе же источников все они присутствуют.

На базе составленного Указателя была осуществлена его первая публикация (1975 г.), вышедшая одновременно с 1-м выпуском Словаря. Второе и третье издания предназначались лишь для составителей Словаря и посетителей Картотеки ДРС и до широкого круга специалистов не дошли. Однако, поскольку они отражают огромную работу с конкретными памятниками, на них все-таки стоит остановиться. Второе издание вышло одновременно с 1-м выпуском Словаря на правах рукописи очень небольшим тиражом. Корпус его составили те же памятники, что и в изданном Указателе. Существенным отличием является внесение в ткань издания сокращений, которые содержатся в Картотеке и отличаются от сокращений, принятых в Словаре. Это сохранено и в Указателе 1984 года, принадлежащем тем же авторам-составителям: С.Ф. Геккер, Г.Я. Романовой, С.П. Мордовиной. Третье же издание предпринято в связи с “продолжающейся... работой по пополнению документальной базы Словаря и по уточнению старых библиографических описаний его источников” (Там же). Подобная работа стала особенно актуальной в связи с выходом книг: “Сводный каталог славяно-русских книг, хранящихся в СССР”, “Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук СССР: Описание русских и славянских рукописей XI–XIII вв”.

Одним из источников СлРЯ XI–XVII вв. являются “Материалы для словаря древнерусского языка” И.И. Срезневского, в котором сокращенные обозначения источников отличаются от принятых в Словаре. В ходе работы авторы словарных статей, подбирая иллюстративный (цитатный) материал, согласно принятым правилам, уточняют цитаты из “Материалов” Срезневского по более современным изданиям источников или же по рукописям.

В 1998 году началась подготовка к изданию нового Указателя и прежде всего уточнялись и перепроверялись все библиографические данные изданных и рукописных источников. Проведена также, по возможности, унификация шифров таким образом, чтобы не нарушать сложившейся в издании Словаря русского языка XI–XVII веков традиции. Новый Указатель значительно больше по объему всех предыдущих. За счет чего это произошло?

Регулярно в каждом пятом выпуске Словаря печатались дополнения к Указателю, накопленные составителями в процессе работы. Новое

издание вобрало в себя все дополнения – а это около 60 памятников письменности.

Важным моментом в Указателе является то, что достаточно полно на сегодняшний день в нем присутствуют оригинальные тексты. Многие из них приводятся впервые. Сведения о греческих и латинских оригиналах, собранные в Указателе – плод многолетних изысканий сотрудников Отдела исторической лексикологии и лексикографии Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Наиболее ярко результаты проведенной работы отразились в сложных по составу памятниках: Великие Минеи Честии, Минея четья за февраль и Мерило праведное. Эти памятники включают в себе много переводных источников. Работа по отысканию греческих и латинских оригиналов ведется в отделе постоянно, и результат ее (надо отметить, довольно внушительный) представлен в новом издании Указателя.

Важным моментом является то, что на базе нового Указателя создана база данных. Были сформированы наиболее актуальные для работы с источником поля: “Автор”, “Исследователь-издатель”, “Язык оригинала”, “Дата”, “Место хранения”. Задавая соответствующие запросы по этой базе данных, исследователь сможет получить необходимую для него информацию. К примеру, из всей массы источников можно выбрать лишь рукописные или же такие переводные источники, к которым найдены оригиналы. Можно выбрать памятники определенного периода, или же написанные тем или иным автором, изданные каким-либо исследователем. При комбинации запросов возможен еще более детальный выбор источников: например, можно выбрать рукописные источники, относящиеся к определенному периоду. Вариантов много.

Возможно, что новый Указатель в дальнейшем будет пополнен некоторыми дополнениями, однако сейчас, в год 25-летия издания Словаря, когда вышло из печати 25 выпусков из предполагаемых 35, вряд ли они будут столь обширны.

Новое издание Указателя, сопровождаемого базой данных, представляет собой наиболее полный индекс источников XI – начала XVIII веков, поэтому его можно рассматривать не только как справочное издание к Словарю, но и как самостоятельное произведение, являющееся необходимым пособием для широкого круга специалистов в области истории русского языка, культуры, истории, литературы и т.д. Его можно рекомендовать также всем, кто интересуется историей Отечества.

Читателям хотим сообщить, что новый Указатель выходит в книге, которая подробно рассказывает об истории создания Картотеки ДРС: “История древнерусской рукописной картотеки. Авторский состав. Указатель источников”. Эта книга состоит из трех больших, равных по значению, самостоятельных частей. В первой прослежена история рукописной Картотеки, хранящей выписки из рукописных и печатных

произведений русской письменности с XI века по начало XVIII. Создавалась она не одно десятилетие. Для нее расписывали цитаты из памятников письменности на карточки многие: ученые, аспиранты, а также люди, судьба которых в дальнейшем не была связана с филологией. Авторам Картотеки посвящена вторая часть книги – “Биобиблиографический словарь”, где была сделана попытка показать вклад каждого, кто трудился над созданием Картотеки ДРС.

Биобиблиографический словарь написан по архивным материалам, по письмам и устным рассказам ныне здравствующих создателей Картотеки ДРС, одни из которых стали известными учеными, преподавателями вузов, другие остались скромными школьными учителями, уже – пенсионерами. Некоторые даже фотографии свои постеснялись прислать: ну зачем обо мне писать? Что уж такого я сделала? А сделали вы то, что нынешнее поколение лингвистов смогло приступить, наконец, к созданию фундаментального академического труда – Словаря русского языка XI–XVII веков и уже довело его до начала буквы С. Напомним: “Словарь русского языка”, начатый академиком Я.К. Гротом и продолженный академиком А.А. Шахматовым, остановился на слове “Обратность”, Словарь же XI–XVII веков задумано создать и издать при жизни одного поколения!

Так что прав был В.М. Истрин, сказавший, что наука делается не только академиками. Нередко фундамент для больших работ десятилетиями закладывается скромными тружениками науки, которые порой и не подозревают, какое важное дело они делают и каким достижениям прокладывают дорогу. Вот о них – эта книга.

Последняя часть представляемой книги посвящена Указателю источников Картотеки ДРС и Словаря русского языка XI–XVII веков. Он небольшой по объему (ок. 15 а.л.), однако охватывает более 3,5 тысяч наименований рукописных и печатных памятников с XI по начало XVIII веков и представляет собой список шифров источников в алфавитном порядке сокращений, с подробным библиографическим описанием изданных и указанием места хранения рукописных памятников письменности. В разное время они были расписаны и составили корпус рукописной Картотеки ДРС, в настоящее время хранящейся в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

Из архива ученого

А.В. Суслова – исследователь имен и фамилий

Анна Владимировна Суслова родилась 3 марта 1903 года в Петербурге. Ее отец Владимир Васильевич Суслов был архитектором, действительным членом Академии художеств. Мать – Любовь Николаевна Кострицына – потомственная дворянка, окончила Бестужевские курсы по специальности “Архитектура”, преподавала рисование в гимназии.

В 1914 году Анну Владимировну отдали в Смольный институт благородных девиц, где она проучилась до 1917 года и получила жизненную закалку до конца дней.

Институт находился под патронажем императрицы Марии Федоровны. Весной и летом 1917 года положение в Петрограде было беспокойным, приближался голод, началась эвакуация учреждений. Мария Федоровна предложила родителям разобрать детей, а тем, кто этого не мог сделать, – эвакуировать их в Черногорию. Там впоследствии функционировало учебное заведение из “осколков” петербургского и харьковского институтов благородных девиц.

В 1918 году отец Анны Владимировны, Владимир Васильевич начал работать в Отделе по охране памятников искусства и старины при Наркомпросе РСФСР, а вся семья уехала в Хвалынский, на родину Любови Николаевны, которая должна была скоро родить шестого ребенка. В 1920 году ее не стало. Владимир Васильевич в этом же году выехал из Петрограда в научную командировку в Поволжье и уже тяжело больным приехал в Хвалынский, где и скончался в 1921 году. Анна Владимировна осталась за старшую и в конце года вернулась в Петроград со всеми своими сестрами и братом. Она обратилась к бывшим сотрудникам отца с просьбой разобрать детей, т.к. в это тревожное и голодное время ей, восемнадцатилетней девушке, было не справиться с такой ношей. Детей разобрали, и благодаря этому они смогли получить образование и стать самостоятельными людьми.

Прожив некоторое время в Москве, Анна Владимировна вернулась в Петроград, окончила университет и работала библиографом в разных библиотеках. Пережила Ленинградскую блокаду. После войны несколько лет работала в Германии, а вернувшись, пришла в Публичную библиотеку.

К ней как к опытному библиографу, обращались люди из разных учреждений, и в том числе из загсов – по проблемам правильного написания имен и фамилий. Она была постоянным консультантом во Дворце

горжественной регистрации рождений “Малютка”, обслуживающем город Ленинград и область.

В свое время она обратила внимание на фамилии, образованные от неизменяемых частей речи: *Ахов, Ежелев, Нехаев, Преждев, Нельзин, Сегодняев, Либов, Пожалостин, Нектов, Ненарокомов, Неуитов, Покудин, Тотчасов, Христорадинов, Частов, Этов*. Она заметила и то, что многие современные фамилии тесно связаны с древнерусскими именами: *Плохов* – ср. *Плохой* Никифор Васильевич, 1521, Галич; *Белавин* – ср. Артемий *Белава*, скоморох, 1560, Новгород; *Семагин* – ср. *Семага* Клим, холоп, 1596, Новгород.

Анна Владимировна Суслова неоднократно говорила о необходимости “улучшить” состав имен у нашего современного населения, имея при этом в виду преодоление бедности перечня даваемых имен и бесконечной повторяемости одних и тех же, а также тенденции давать в качестве полных паспортных имен различные сокращенные их формы. Она выступала с лекциями об именах перед различными аудиториями, часто ее голос можно было услышать и по радио. Анна Владимировна Суслова составила памятку для молодых родителей “Как назвать тебя, малыш?”, которая регулярно публиковалась во дворце “Малютка”. Ее перу принадлежит множество работ об именах и фамилиях. Анна Владимировна ушла из жизни, не дожив несколько месяцев до 96 лет.

Газета “Аргументы и факты” (1998. № 19) опубликовала вопрос о том, какими именами сейчас чаще всего называют, и дала ответ: “Мы обзвонили загсы Москвы, Самары, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. Самыми популярными именами оказались *Никита, Александр, Анастасия* и *Ксения*. Кроме них, москвичам и самарцам по душе: *Даниил, Антон, Денис, Дарья, Татьяна* и *Кристина*. Екатеринбургцы предпочтение отдают *Алексеям, Павлам* (имя *Борис* почему-то не прозвучало), *Екатеринам, Марьям*. А у ростовчан “нарасхват” *Данилы, Сергеи, Оксаны* и *Наташи*. Какой-либо тенденции в выборе имен не прослеживается, кроме столицы, где в последнее время новорожденных чаще всего стали называть именем бабушки или дедушки”.

Если сравнить этот ответ с материалами А.В. Сусловой, то явно прослеживается тенденция, выявленная ею в конце 80-х годов, а именно, – рост популярности имен *Никита, Антон, Денис, Данил* и *Даниил, Павел; Анастасия, Ксения, Кристина, Екатерина, Мария, Оксана*. Кстати, последнее имя – украинская форма имени *Ксения*, получившаяся через вариант *Оксения*. Таким образом, популярность обоих вариантов этого имени возрастает параллельно. Имена *Александр, Алексей, Татьяна, Наталия* (и *Наталья*) сохраняют свое прежнее высокое положение на шкале частотности, хотя А.В. Суслова отметила некоторое его снижение. Отметим также параллельное увеличение частотности женского имени *Александра* и его украинского ласкательного соответствия *Олеся*, а также имени *Алёна* – русского народного вариан-

та имени *Елена*. Родители настаивают на том, чтобы именно в таких формах имена стояли в документах их детей.

Интересно, к чему приведут в будущем наметившиеся тенденции. Жаль, что нет такого другого энтузиаста, который мог бы продолжить дело, начатое А.В. Сусловой. Но остался еще архив ученого, из которого мы предлагаем небольшую заметку вниманию наших читателей.

Заметки о составе и движении во времени личных имен

А.В. СУСЛОВА

Начало этой работы было связано с тем, что в обществе имелась острая необходимость в пособии по личным именам, из которых можно было бы выбрать имя новорожденному. В начале 60-х годов таких пособий почти не было, за исключением небольшого числа брошюр и книги Л.В. Успенского, а также церковного календаря, доступ к которому был ограничен из-за отрицательного отношения к людям, ходившим в церковь.

В самом начале исследований, в 1966 году, удалось проанализировать до 15 тысяч личных имен разных поколений по газетам и документам того времени, в том числе и имен новорожденных. Оказалось, что подсчеты дают весьма однородные сведения о численности и составе имен по возрастным группам. К *первой группе* были отнесены имена массового распространения (50 и более одинаковых имен на тысячу человек), ко *второй группе* – имена широкого распространения (от 20 до 50 на тысячу), к *третьей* – имена ограниченного распространения (от 4 до 20 – на тысячу), к *четвертой* – редкие и редчайшие имена (1–3 на тысячу). При этом обнаружилось, что границы между этими группами выделяются достаточно четко.

Состав имен в трех первых группах относительно стабилен. Это преимущественно старые календарные имена, которые можно охарактеризовать как основной, постоянный состав русского именника. В противоположность им, входящие в четвертую группу имена значительно богаче, разнообразнее, но они охватывают не более 10% именуемых. Это – иноязычные имена, а также некоторые старые календарные, редко употребляемые имена и их переделки. Это – перемный состав русского именника. В качестве единичных вкраплений встречаются древнерусские *Добрыня*, *Ждан*, *Любава* и сохранившиеся от послере-

волюционного периода *Вилен, Виль, Владлен, Радий, Рем; Авелина, Владилена, Весна, Лиана, Лилия, Майя, Нинель. Тайна, Сталина* (зарегистрировано в 1975 г.).

Состав имен у девочек шире, чем у мальчиков. В нем меньше календарных имен (хотя есть их модификации), больше новообразований и иноязычных имен. По-видимому, это объясняется тем, что в церковных календарях женских имен было в несколько раз меньше, чем мужских, и то, что там имеется, не удовлетворяет запросы современного общества.

Состав и численность имен в каждой группе постепенно меняются, сопровождаясь либо увеличением, либо сокращением численности отдельных имен. При этом происходит передвижка отдельных имен из группы в группу, что можно наблюдать лишь на значительном отрезке времени. Сами же группы с их основными характеристиками сохраняются. Приведем данные по некоторым именам.

Увеличение численности некоторых имен (в расчете на тысячу именуемых):

Анастасия: 1966 – нет; 1969 – 9; 1972 – 9; 1976 – 24; 1983 – 43; 1988 – 52.

Анна: 1966 – 16; 1969 – 36; 1972 – 40; 1976 – 50; 1983 – 65; 1988 – 82.

Дарья: 1966 – нет; 1969 – нет; 1972 – 1; 1976 – 3; 1983 – 10; 1988 – 22.

Екатерина: 1966 – 16; 1969 – 27; 1972 – 24; 1976 – 44; 1983 – 81; 1988 – 111.

Антон: 1966 – 4; 1969 – 14; 1972 – 17; 1976–19; 1983 – 37; 1988 – 39.

Денис: 1966 – 3; 1969 – 22; 1972 – 24; 1976 – 41; 1983 – 30; 1988 – 21.

Иван: 1966 – 4; 1969 – 6; 1972 – 1; 1976 – 4; 1983 – 17; 1988–24.

Максим: 1966 – 12; 1969 – 9; 1972 – 17; 1976 – 25; 1983 – 31; 1988 – 35.

Уменьшение численности некоторых имен (в расчете на тысячу именуемых):

Елена: 1966 – 144; 1969 – 141; 1972 – 168; 1976 – 112; 1983 – 66; 1988 – 34.

Жанна: 1966 – 7; 1969 – 6; 1972 – 5; 1976 – 1; 1983 – нет; 1988 – 1.

Сергей: 1966 – 142; 1969 – 108; 1972 – 119; 1976 – 110; 1983 – 60; 1988 – 59.

Эдуард: 1966 – 8; 1969 – 10; 1972 – 2; 1976 – 1; 1983 – 3; 1988 – 2.

Как видно, при общей тенденции к сокращению или увеличению частотности отдельных имен это осуществляется не как единовременный акт, а постепенно и сопровождается некоторыми колебаниями, временным возвратом к предыдущему состоянию, за которым наступают более резкие и ощутимые изменения.

В конце XX века, очевидно, благодаря появлению ряда словарей, книг и пособий по характеру и происхождению личных имен, состав их стал расширяться, соответственно меньшее число именуемых стало носителями нескольких имен массового распространения. Постепенно восстанавливаются в правах некоторые незаслуженно забытые тради-

ционные русские имена, утраченные в послереволюционные годы по социальным мотивам и предрассудкам. Расширился постоянный состав русских имен. Более разнообразным стал переменный состав. Так, в числе имен, единично данных в 1966 году, отметим *Алекс, Андриан, Андрус, Альфред, Артемий, Владлен, Гелий, Витольд, Жан, Ираклий, Никола, Радик, Рубен, Рем, Фернан, Юлий*; среди единично данных имен в 1988 году – *Абрам, Алан, Алекс, Альфред, Анастас, Антоний, Армен, Артемий, Аятула, Данила, Давыд, Добрыня, Иннокентий, Казбек, Клим, Леонард, Манас, Мартин, Михай, Рене, Родион, Рональд, Савва, Стас, Султан, Томас, Христиан, Эдвард, Эдеон, Элдар, Эльвин, Эмиль*.

В числе единично данных в 1966 году имен отметим следующие женские: *Алевтина, Ева, Жанетта, Изольда, Инда, Катрин, Леонелла, Лолла, Магда, Мадлена, Мариам, Мариана, Милана, Наида, Натэлла, Нинель, Рената, Тайна, Элита*; в 1988 году – *Агата, Аксана, Алеся, Альбина, Вивiana, Владилена, Виталина, Десислава, Джулия, Зарина, Иванна, Изабелла, Камилла, Кати, Лица, Лиана, Лина, Линда, Лолита, Мая, Милослава, Ната, Паола, Паула, Раиса, Регина, Роза, Росина, Русалина, Сабина, Сандра, Стефания, Сусанна, Тамила, Флорентина*.

Таким образом, наряду со свободной преемственностью исторических имен, наблюдается и существенное обновление именника, не столько за счет индивидуальной фантазии, сколько за счет интернационализации, связанной с интернациональными браками, а также со значительными проникновениями иноязычной лексики в русский язык (фильмы, музыкальные ансамбли, товары, совместные российско-иностраные предприятия).

Отдавая себе полный отчет в том, что даже многократные подсчеты, проведенные одним человеком на протяжении 22 лет, не могут дать исчерпывающих сведений о составе имен всех новорождённых, все же хочу отметить, что анализ однородного материала, проводившийся в те же отрезки времени, по одной и той же методике, позволяет увидеть некоторые закономерности. Прежде всего, с самого начала при подсчетах бралась одна тысяча именованных и параллельно вторая (контрольная) тысяча. Расхождения данных по первой и второй тысяче оказались минимальными, что служит доказательством надежности данных, получаемых при подсчетах.

Вступительная статья и публикация
А.В. Суперанской,
доктора филологических наук



ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ*

Г.П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Торо́пец. Город в Тверской области. Впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 1074 годом как пограничный город Смоленского княжества. В XII веке город становится центром удельного княжества. Первым князем здесь был Мстислав Ростиславович Храбрый – сын Смоленского князя (Города России. Энциклопедия). Свое имя город получил по реке Тороца, на которой он стоит (совр. река *Торопица*). Гидроним принято считать славянским, русским, соотносящимся с *торопиться*, “быстро двигаться, идти”. Имеется в виду быстрое и порожистое течение реки. Это предположение поддерживается тем обстоятельством, что на реке Тороце при впадении ее в Западную Двину есть большой порог, а на реке Шексне есть порог с названием *Торопец* (Попов. Следы времен минувших). Но есть основание видеть в гидрониме доиндоевропейскую основу (Агеева. Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации).

торопча́не, торопча́нин, торопча́нка

торопе́цкий, -ая, -ое

Торопчане – табатёры. Такое прозвище, видимо, связано с промыслом жителей Торопца: трут табак, изготавливают так называемый нюхательный табак.

Тосно (1963). Город в Ленинградской области. Название дано по реке Тосна, на берегу которой уже в XV веке была деревня Тосна. Впер-

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6; 1998. №№ 1–6; 1999. №№ 1–6; 2000. № 1.

вые поселение Тосно упоминается в 1500 году. В начале XVIII века на месте небольшой деревни возникла ямская слобода на “Большой дороге”, проложенной от Петербурга до Москвы. В слободе жили ямщики, отбывавшие “почтовую гоньбу” (Города России. Энциклопедия). Гидроним *Тосна* (более ранняя форма *Тьсна*) пока остается загадочным. Некоторые исследователи сближают его с древнерусским *твьсьнь* “узкий, тесный” (Кисловский. Знаете ли вы? Словарь географических названий Ленинградской области). Не исключено, что такого же происхождения повторяющийся гидроним *Цна* (< *Сна* < *Твьсьни*), известный на территории бывшего распространения финно-угорских языков и цокающих русских народных говоров. См. *Цна, Десна, Сосна*.

тосненцы, тосненец, тосненка

тосненский, -ая, -ое

Трактор. Моршанский поселок в Республике Мордовия. Основан переселенцами из села Старое Пшенево в начале тридцатых годов XX века. Название отражает появление первых тракторов в нашем сельском хозяйстве (Инжеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР).

Третьякий. Село в Воронежской области, возникшее приблизительно в первой четверти XVIII века. Основано несколькими семьями Третьяковых, выходцами из Моршанского уезда (Прохоров. Вся Воронежская земля). *Третьяк* – ранняя форма фамилии *Третьяков*, от прозвища *Третьяк* – третий ребенок в семье.

третьяковцы, третьяковец

третьяковский, -ая, -ое

Трёхстенки. Село в Воронежской области. Основано в первой половине XVIII века, а свое название получило от словосочетания *три (трех) стенки*. Как пишет В.А. Прохоров, *стенка* – “земельный участок на краю поля; край поля”, с таким значением встречается в южных говорах Воронежской области. Вероятно, первые поселенцы получили земельные наделы в окраинах трех полей или их земля была ограничена тремя стенками (наделами) других владельцев.

трёхстенковцы, трёхстенковец

трёхстенковский, -ая, -ое

Тригорское. Поселок в Псковской области, входит в состав Пушкинского музея-заповедника. Тесно связан с жизнью и творчеством А.С. Пушкина. В основе названия сочетание *три горы*, на которых было расположено имение Осиповых-Вульф и относящееся к ним поселение. Здесь часто бывал А.С. Пушкин; Тригорское вдохновляло поэта, оно неоднократно упоминается в его произведениях.

тригорцы, тригорец

тригорский, -ая, -ое

Троицк (1977). Город в Московской области. В прошлом это село Богородское (Троицкое). Оба названия по церкви во имя Пресвятой Богородицы и Пресвятой Троицы.

тройчане, тройчанин, тройчанка
троицкий, -ая, -ое

Троицкий (1971). Рабочий поселок в Белгородской области. В основе топонима название храма, построенного в этом селе в честь пресвятой Троицы. Очень часто встречаются в русской топонимии названия по храмам, в том числе и Троицкие. Чаще всего по храмам, воздвигнутым в знак почитания христианских святых Николая (Николы), Сергея (Сергия) и др. или в честь двенадцатых престольных праздников: Воздвиженский, Рождественский, Благовещенский и др. Особенно часты подобные топонимы в центральных областях России.

Тройня. Село в Воронежской области. Основано переселенцами в начале XIX века и имело название *Троицкое* по возведенной в нем в 1865 году церкви пресвятой Троицы. В XX веке название села изменилось до неузнаваемости.

тройнинцы, тройнинец
тройнинский, -ая, -ое

Трубеж. Название двух небольших рек на центральной территории России: одна впадает в Плещеево озеро у города Переславля-Залесского, другая – протока Оки у города Рязани. Есть еще река Трубеж в бассейне Днепра, близ города Переславля-Хмельницкого на Украине. Дериваты гидронима Трубеж известны на территории славян в бассейне Вислы, Днепра, Оки. Есть основание видеть в нем гидрографический термин *труба* “протока, рукав, ответвление реки”. В значении “протока” он известен в русских народных говорах и в памятниках письменности русского языка XVI–XVII вв., “рукав пруда”, “место, где вытекает вода из пруда” – в говорах чешского и словацкого языков. Подтверждением этого предположения является тот факт, что Трубеж под Рязанью и сейчас представляет собой протоку; Трубеж у Переславля-Залесского на картах Генерального межевания России XVIII века тоже имеет явно выраженную конфигурацию протоки, местами высохшей. Не исключено, что Трубеж Днепровский в далеком прошлом был протокой между Днепром и Десной через реки Быструю и Остер. Что касается суффикса -еж (-иж, -яж), то он часто оформляет гидронимы в бассейне Днепра (*Любеж, Литиж, Нитяж*) и в междуречье Ока – Волга (*Иневеж, Кучебиж* и др.). Известные ранее предположения о связи гидронима *Трубеж* с *труба* без указания значения апеллятива (Топоров В.Н., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья), а также с общеславянским корнем *тъч- русское “тереть” не могут считаться убедительными, так как не имеют достаточной аргументации лингвистической и номинационной.

трубежный, -ая, -ое; трубежский, -ая, -ое

Трубецк (1185*). Город в Брянской области. Ранние названия: *Трубець, Трубежскъ, Трубцескъ*. Название дано по реке Трубеж, на кото-

рой город основан, плюс суффикс *-скъ*. Об этом свидетельствует самая ранняя форма топонима – *Трубешскъ*. Современная форма получилась в результате ассимиляции (уподобления) согласных в этом названии.

трубчѣвцы, трубчѣвец и трубчәне, трубчанин, трубчанка
трубчѣвский, *-ая, -ое*

Труд. Поселок в Воронежской области. Известен с XVIII века как несколько маленьких хуторов с общим названием *Медвежья поляна*. После 1917 года хутора объединились в один поселок с общим названием *Труд* в знак почета и уважения к труду, работе (Прохоров. Указ. соч.). Аналогичный топоним известен в Мордовии – колхоз “Труд”, созданный в годы коллективизации сельского хозяйства (1931 г.). По свидетельству И.К. Инжеватова (см. указ. работу) такие названия на карте Среднего Поволжья неоднократно. Ср. также поселок *Трудартель* (с 1922 г.) в Воронежской области.

трудо́вцы, трудо́вец
трудо́вский, *-ая, -ое*

Трудовбе. Поселок в Воронежской области. Известен с 1832 года. Название дано местной помещицей по моде того времени – идеализации сельской жизни. Аналогичным образом было названо село *Трудолюбовка*.

трудо́вцы, трудо́вец
трудо́вский, *-ая, -ое*

Трускляй (Турскляй). Мокшанское село в Республике Мордовия. В основе названия мокшанское слово *туркс* “поперек, наперерез, косо” и *ляй* “река, овраг с водой”. Село формировалось вокруг оврага, то есть косо (Инжеватов. Указ. соч.). Яркий пример перестановки звуков в русском языке: *трусск-/турск-*

трускля́евцы, трускля́евец
трускля́йский, *-ая, -ое*

Продолжение следует



“ВЕСЕЛА, КАК ВЕШНИЙ ЖАВОРОНОЧЕК”

Обрядовая подоплёка устойчивого сравнения

*В.А. КОРШУНКОВ,
кандидат исторических наук*

В книге А.А. Брагиной “Мир животных в мире слов” (М., 1995) на стр. 185 сказано: “С жаворонком сравнивают весёлую, до зари просыпающуюся девочку, девушку, молодую женщину – *жаворонок; весела, как вешний жавороночек*”. Просыпающаяся до зари – конечно, оттого, что в русском языке (как и во многих других языках) жаворонок считается “ранней пташкой”. Да и вообще весна издавна представлялась временем года новым, ранним или, говоря словами А.С. Пушкина, “утром года”. Так что, и весна, и жаворонок – ранние. Вот и в поэме известного филолога, учёного и поэта Э.Г. Бабаева “Собиратель трав” читаем: “Я очень рано / Из дома вышел, / Раньше жаворонка / И весны” (Бабаев Эдуард. Собиратель трав. Монолог-поэма. М., 1995. С. 6). А другое уподобление – *весела, как вешний жавороночек* – это свойственное русской речи устойчивое сравнение, которое встречается в “Толковом словаре” В.И. Даля и в его же “Пословицах русского народа”.

Интересно, что у Андрея Белого – знатока и ценителя образной русской речи – в стихотворном цикле “Деревня” (1906–1908) жаворо-

нок вспархивает и заливается пением сразу вслед за тем, как улыбнулась-рассмеялась крестьянская девка-красавица:

Задымят сырые росы
Над сырой травой.
Заплетают девка в косы
Цветик полевой: –

Улыбнётся, рассмеётся.
Жаворонок – там –
Как взовьётся, изольётся
Песню к небесам.

Но почему с весенней птахой сравнивается девочка, девушка, молодая женщина? Почему не парень, не мужчина? Ведь слово *жаворонок* мужского рода, а в русском языке при сравнении человека с растением или животным грамматический род, как правило, учитывается.

Кляча и *кобыла* – так говорят о женщине, *жеребец* и *сивый мерин* – о мужчине. *Орёл* и *сокол ясный* – парень, *лебёдушка*, *лебедь белая* – девушка. С медведем сравнивают мужчину, с коровой – женщину. С одной стороны, *болтливая сорока* и *старая карга* (то есть ворона), с другой – *угрюмый сыч*. *Голубка* и *голубушка* – женщина, *голубок* и *голубчик* – мужчина. *Здоров, как бык* или *как буйвол* бывает парень. “А сама-то величава, выступает, будто пава”, – так в пушкинской “Сказке о царе Салтане” изображена царевна. *Гадом* и *аспидом* называют дурного мужика, *змея подколодная* – таким определением в народных песнях нередко награждается лютая свекровь.

Конечно, бывают и исключения. Крошечную девчушку вполне могут назвать *клопом*. Мужчину могут обозвать *крысой*, *блохой*, *гнидой*, *свиньёй*. В иных же случаях про него скажут, что он *акула бизнеса* или что он *нем, как рыба*. Но, строго говоря, слово *клоп* в русском языке не имеет женского рода, так же, как нет формы мужского рода от слов *крыса*, *блоха*, *гнида*, *свинья*, *акула*, *рыба*. (Попутно обратим внимание на неспроста появившееся шутовское словечко *свинтус*. Или, как у Владимира Маяковского: “Вырастет из сына свин...”). Мужчину могут назвать не только *хитрым лисом*, но и *лисой*. И дело тут, видимо, в том, что в русском фольклоре образ лиса не разработан, изворотливый Рейнеке-лис у нас не прижился, у нас – лисичка-сестричка. С кем же ещё сравнивать лукавого мужичка, как не с нею?..

Как бы то ни было, случаи несоответствия грамматического рода при таких сравнениях всегда обусловлены серьёзными причинами. Но почему жаворонком называется именно женщина? Неужели потому только, что название этой птицы существует в нашей речи лишь в форме мужского рода?.. Неспроста речь идёт о жаворонке внешнем. По ста-

ринному русскому поверью, весну, с которой в древности начинался очередной сельскохозяйственный год, приносили перелётные птицы. И очень часто это были жаворонки. На Руси встречу птиц и весны обычно праздновали 9 марта (иногда про этот день так и говорили – *жавороночий*). Или же 1-го, а то и 25 марта (всё – по старому стилю).

Ко дню встречи птиц готовили обрядовое печенье, которое нередко так и называли – “жаворонки”. С этим печеньем играли, его подбрасывали вверх, рассаживали на току и на проталинах, натывали на палки и колья, крошили птицам, ели сами и давали домашним животным. Эти обрядовые действия сопровождалась коротенькими песенками-закличками – веснянками.

В XIX веке, когда эти обряды стали записываться и изучаться, они в большинстве мест России превратились уже в сугубо детскую забаву. Так часто бывает: когда архаичный ритуал начинает терять былое серьёзное значение, он может сохраняться в виде игры, детского развлечения. Смысл забывается – форма остаётся.

И всё-таки примечательно, что даже и в сравнительно позднюю эпоху в этнографических описаниях встречаются указания на то, что этот праздник справляют девушки и женщины. Вот некоторые примеры.

В прошлом веке, по свидетельству И.П. Сахарова, в Смоленской губернии 1 марта кликали весну: “Женщины, девицы и дети взлезают на кровли амбаров или на пригорки и поют:

Весна, красна!
Что ты нам принесла?
Красное летичко”.

То же повторялось и 9 марта (Сахаров И.П. Сказания русского народа: Народный дневник. Праздники и обычаи. СПб., 1885. С. 34, 39).

В начале XX века А.А. Макаренко отмечал, что в Енисейском крае крестьянки считали 1 марта “своим днём”. А про 9 марта писал так: «Праздник “баб” (женщин) и “девок”; “мужики” и взрослые парни работают» (Макаренко А.А. Сибирский народный календарь. Новосибирск, 1993. С. 49–50). Собиравший этнографический материал в соседних местах Сибири Г.С. Виноградов заметил, что 1 марта празднуют “только бабы” (Виноградов Г.С. Материалы для народного календаря русского старожилого населения Сибири // Зап. Тулуновского отд. Общ-ва изучения Сибири и улучшения её быта. Вып. 1. Иркутск, 1918. С. 9).

О том, что ещё в XVI веке первый день марта отмечали именно женщины, мы узнаём из уникального источника, каким является постановление Стоглавого собора 1551 года. Собор запрещал “женская в народех плясания, срамна сущи”, которые бывали на календы – “еже есть

первый день коегождо месяца, но и паче же марта месяца” (Стоглав / Издание Д.Е. Кожанчикова. СПб., 1863. С. 265).

Даже в наши дни исследователям народных традиций удаётся иногда примечать, что “представления о необходимости этого обычая сохранялись... и у взрослых”. Уточним – у взрослых женщин. Так, 9 марта «в с. Высокое хозяйки сами выходили “кликать”, при этом женщины лезли на крышу сарая и там с жаворонками в руках произносили закличку» (Слещова И.С. Весенние “жаворонки” Шацкого района Рязанщины // Народное творчество. 1996. № 1. С. 29).

Кроме того, этнографы отмечают, что по образцу встречи весны кое-где справляли и другой весенний обряд – встречу Масленицы. Так вот, встреча Масленицы тоже обычно отмечалась девушками. В Калужской области они при этом пели:

А вот Масленица на двор въезжает,
Её девушки её состречаютъ,
Её красные её состречаютъ...

(Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М., 1979. С. 13, 16, 64).

Вообще же подобных женских дней в русском народном месяцеслове было немало. Как правило, такие праздники отличает запрет на девичью и бабью работу. И прежде всего – на прядение и ткачество. Этот запрет особенно строг в третью возможную дату встречи птиц и весны – 25 марта. По церковному календарю это день Благовещенья Пресвятой Богородицы. Крестьяне знали, что “в Благовещенье на суровую пряжу не глядят” (Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1993. Т. 3. С. 483); “в Благовещеньев день – птица гнезда не завивает, девица косы не заплетает” (Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. М., 1993. Т. 2. С. 385). То есть во время очень значимого народно-православного праздника не только возбранялось прясть, но даже косы нельзя было плести. Сходным образом и пернатые в этот женский и птичий день не могли заниматься своим обычным делом – витьём гнёзд. Рассказывали, что та птица, которая нарушит запрет, летать не сможет и будет всё лето пешей ходить. Говорили также, что кукушка живёт без гнезда именно потому, что завивала его на Благовещенье.

А другая дата встречи птиц – 1 марта – по православному календарю приходилась на день памяти преподобной мученицы Евдокии. Интересно, что эта святая представлялась не только “бабьей святой”, но также заступницей и охранительницей дающих шерсть овец. Её так в народе и называли – Авдотья-овчарница. По словам С.В. Максимова, 1 марта “бабы обязательно приходят в церковь и заказывают молебны перед иконой Евдокии, так как эта святая считается покровительницей овец” (Максимов С.В. Указ. соч. Т. 2. С. 352). В этом случае проявилась

всё та же связь женского рукоделия со днём встречи птиц. Заметим, что запрет на пряденье 1 марта, в день Евдокии, отразился, очевидно, в известной шуточной народной песне про Дуню-тонкопяху, у которой ну никак не ладилось дело (Коршунков В.А. Обрядовое хлестание в детской потешке // Мир детства и традиционная культура / Сост. С.Г. Айвазян. М., 1995. С. 111–112). Любопытно также, что и в советское время ленинградские швейные и прядильно-ткацкие предприятия в народе назывались не иначе как *Дунькиными фабриками* (Балдаев Д.С. Словарь блатного воровского жаргона: В 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 293).

Запрет на работу выпадал, кажется, и на 9 марта. Во всяком случае, в этот день в Калужском крае пели веснянку-закличку, начинающуюся традиционно: “Весна красна, на чём пришла?..” Заканчивалась она так: “Галава балить, ни прять, ни ткать, ни пачатки матать” (Шереметева М.Е. Земледельческий обряд – “закливание весны” в Калужском крае // Сб. Калужского гос. музея. Вып. 1. Калуга, 1930. С. 51–52). Мотив пряденья звучал и в других веснянках, исполнявшихся 9 марта. Например, в курской: “А мы весну ждали, клочки допрядали” (Обрядовая поэзия. М., 1989. С. 183), в саратовской – прилетающие птицы должны принести с собою клубочки, мотушки, спицы, швейки, щётки (Русская народная поэзия: Обрядовая поэзия. Л., 1984. С. 113).

В женские дни народного календаря была особенно значима тема чадородия. Недаром девичий и бабий праздник оказался приурочен к Благовещенью Божьей Матери. Веснянки-заклички часто начинались с обращения к Богородице, чтобы она благословила призывать весну.

Возможно, Богородица вытеснила в народном сознании какой-то языческий персонаж, связанный со встречей птиц и весны. К примеру, у болгар распространены первомартовские легенды о “бабе Марте” – то есть мартовской бабе (Миков Л. Първомартенска обредност. София, 1985. С. 75–78). В восточнороманской традиции её обычно именуют “бабой Докией” (то есть Евдокией), а вообще-то мартовская старуха – действующее лицо простонародных легенд и быличек у многих народов (Кабакова Г.И. Структура и география легенды о мартовской старухе // Славянский и балканский фольклор / Отв. ред. Н.И. Толстой. М., 1994. С. 209–222). Ну, а на Руси женщины издавна почитали святую Параскеву-Пятницу. По пятницам запрещалось прять, а тех, кто нарушал запрет, Параскева-Пятница жестоко наказывала. Особо выделяли двенадцать посвящённых этой святой пятничных дней в году и ревностнее всех прочих отмечали пятницу накануне Благовещенья (Коринфский А.А. Народная Русь. Смоленск, 1995. С. 181–182). По мнению исследователей, эта святая имеет много общего с языческой богиней Мокошью.

По старинным русским поверьям, по весне вместе с перелётными птицами из потусторонней заморской страны – вырея – возвращаются и крылатые олицетворения болезней – зловредные лихорадки-трясави-

цы. Эти трясавицы представлялись девками с распущенными волосами. Часто их изображали нагими и находящимися в воде. Трясущейся, простоволосой девкой или бабой, иногда нагой и босой, представляли и Параскеву-Пятницу (Коршунков В.А. Указ. соч. С. 112–114).

К этому нужно добавить, что и детская песенка-потешка “Ладушки” отражает реалии весеннего обряда встречи птиц (Коршунков В.А. “На головушку сели!” // Русская речь. 1991. № 1. С. 142–146). А, между прочим, исполняя веснянки, иногда обращались за благословением не к Богоматери, а к языческой Ладе:

“Благослови, мати,
Ой мати Лада, мати!
Весну закликати”.

(Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. Т. 1. С. 228).

Может быть, А.Н. Афанасьев и другие учёные прошлого века, отметившие в веснянках имя богини Лады, восприняли это слово неверно? Может быть, там звучало не имя, а старинное существительное *лада* – ласковое обращение к матери, означавшее “милая”? Или это всего лишь традиционный напев весенних обрядовых песен (ср. “лада”, “ладо”, “ладу”, “дидо-ладо”, “ой, ладушки-ладу”)?. Существование у славян древней богини весны, чадородия и плодородия Лады засвидетельствовано разнообразными источниками. Так что любовное обозначение девушки-невесты или молодой женщины словом *лада*, несомненно, связано с именем богини. Да и обрядовыми напевами “ладо”, “ладу”, судя по средневековым латинским описаниям, славянские “старухи, жёны и девы” некогда призывали свою богиню Ладу.

Похоже, что древний языческий праздник встречи весны и птиц был поначалу праздником женским и девичьим, на котором почитался какой-то женский мифологический персонаж. То ли Лада, то ли Мокошь – вполне возможно, что оба имени отражают ипостаси одного и того же мифологического образа. Черты этой языческой богини проглядывают и в простонародных представлениях о лихорадке-трясавице. А в христианскую эпоху культ этого божества вытесняется женскими культами святой Евдокии, Параскевы-Пятницы и Богородицы. Поскольку уже в древности встреча весны и птиц была связана с мотивами деторождения, то это могло способствовать постепенному переходу обрядов встречи птиц от взрослых к детям.

Участие детей в таких обрядах, а это постепенно становилось всё более и более заметным, привело к тому, что с внешним жаворонком стали сравнивать не только девушек и женщин, но и детей. Знаток народной жизни А.А. Коринфский в начале нашего века писал: 9-го марта детвора весела, “что вешний жаворонок” (Коринфский А.А. Указ. соч.

С. 167). А у Даля находим такую приговорку: “Птица радуется весне, а младенец матери” (Даль В.И. Указ. соч. Т. 2. С. 143).

Даже по приведённым фразам видно, что весенний жаворонок представлялся птицей весёлой. Сто лет назад М.И. Михельсон привёл в своём словаре два иносказательных простонародных выражения и дал их толкования: *жаворонки запели* – то есть пришла весна; *жаворонки у нас в небе поют* – только и радостей (о бедности) (Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Своё и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. М., 1994. Т. 1. С. 288). Вот и в юношеской поэме Н.В. Гоголя “Ганц Кюхельгартен” сказано:

Какой же день! Весёлые вились
И пели жавронки...

Значит, неспроста вешнему жавороночку уподоблялась не всякая девушка или молодая женщина, а непременно весёлая.

Очень интересна лаконичная и образная характеристика этой птицы, содержащаяся в повести XIV века “Задонщина”: “Оле жаворонок, летняя птица, красных дней утеха, возлети под синие облакы...” В переводе Л.А. Дмитриева: “О жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха...” (Воинские повести Древней Руси. Л., 1985. С. 160, 170). Слово *лето* означало в прежние времена весь тёплый сезон, то есть, по-теперешнему, и весну, и собственно лето – вплоть до осенних заморозков. В народных обрядовых песнях при встрече птиц пелось, что перелётные птицы приносили весну-красну или “тёплое летечко”. А посему древнерусское выражение “летняя птица” в этом контексте надо понимать так: птица, приносящая весну, открывающая тёплое время года. Недаром вслед за тем упомянуты “красные дни”, то есть прекрасная пора весны-красны и “лета красного”. Л.А. Дмитриев предлагает понимать это выражение как “радостные дни”. С таким переводом можно, пожалуй, согласиться, поскольку такой оттенок значения тоже имеется.

Выходит, что и пять веков тому назад жаворонок считался на Руси весенней и весёлой птицей. Кстати, и в украинском языке прилетающие весной журавли назывались *веселиками*, *весельчуками* (в Полесье про них говорили – *вєсэлыкы*), а поляки полагали, что птицы по весне прилетают радостные (Славянское и балканское языкознание: Структура малых фольклорных текстов / Отв. ред. С.М. Толстая, Т.В. Цивьян. М., 1993. С. 143; Толстой Н.И. Язык и народная культура. М., 1995. С. 302). Примечательно, что, по мнению некоторых исследователей, слова *весна* и *весёлый* могут быть этимологически родственными (см.: Этимологический словарь русского языка / Под руководством и редакцией Н.М. Шанского. Т. 1. Вып. 3. М., 1968; Толстой Н.И. Указ. соч. С. 301–306).

Итак, характерное для русской речи устойчивое сравнение внешнего жавороночка с весёлой девушкой или молодой женщиной отразило древний обряд встречи птиц, который, как выяснилось, был девичьим и женским праздником.

Архаичные представления о любезном красным девицам весёлом раннем жавороночке, что приносит с собой весну-красну и новолетие, запечатлены в зачине старинной народной песни:

Жавороночек *размолоденький*,
Начто *рано* вывелся, *молод* вылетел
На дикую степь, на саратовску?
Ты воспой, воспой песню *новую*,
Песню *новую*, *развесёлюю*.

(Фольклор Саратовской области. Кн. 1. Саратов, 1946. С. 102; курсив наш. – В.К.).

...И, согласитесь, есть всё же что-то неслучайное в том, что установленный социалистами день солидарности сознательных работниц, который у нас в стране превратился в конце концов просто в весенний женский праздник, тоже приходится на март.

Киров



Древнеславянская версия сказки "Чудесные дети"

"Переволочения светоносных близнецов"

Т. В. ЗУЕВА,
доктор филологических наук

Давайте вспомним:

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.

Кот-баюн сам явился из устной народной сказки: с прекрасного острова посреди моря, где изумлял собою проезжих купцов-корабельщиков. Эту сказку А.С. Пушкин услышал в Михайловском – должно быть, от Арины Родионовны. В конспекте 1824 года он записал: "Некоторый царь задумал жениться, но не нашёл по своему нраву никого. Подслушал он однажды разговор трёх сестёр. Старшая хвалилась, что государство одним зерном накормит, вторая, что одним куском сукна оденет, третья – что с первого года родит 33 сына". В указанный срок "царица благополучно разрешилась 33 мальчиками", а также родила ещё одного, чудесного: "ножки по колено серебряные, ручки по локотки золотые, во лбу звезда, в заволочке месяц..." (Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1975. Т. 3. С. 425).

В самом счастливом для поэта 1831 году это произведение легло в основу его лучезарной "Сказки о царе Салтане". Кот, использованный ранее в прологе к поэме "Руслан и Людмила", был заменён весёлой, кокетливой белочкой – плодом авторской фантазии. Но одно изображение повторилось. В пушкинском конспекте народной сказки было помечено лаконично: "...Море всколыхалось, и вышли 30 юношей и с ними старик" (Там же. С. 426). Поэт два раза вдохновенно развернул это в картину:

Там лес и дол видений полный;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской...

(Пролог к поэме "Руслан и Людмила")

В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на брег пустой,
Разольётся в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.

("Сказка о царе Салтане")

Универсальный сюжет "Чудесные дети" бытовал в разных национальных версиях. Волшебную сказку о рождении излучающих свет младенцев и о том, как их мать была оклеветана завистливыми старшими сёстрами, рассказывали едва ли не все народы Земли. Древние русичи в киевский период создали её самобытный тип, который и услышал Пушкин в Михайловском – и сразу же провидчески узрел его исторические корни. Не случайно в прологе к "Руслану и Людмиле" поэт воскликнул:

Там русский дух... там Русью пахнет!

Пушкин знал и другую национальную версию сюжета – по книге "Тысяча и одна ночь". Благодаря нескольким переводам этой книги с французского восточная версия сказки "Чудесные дети" с начала XIX века вошла, наряду с самобытной, в повествовательный фольклор русских, украинцев и белорусов. А.Н. Афанасьев назвал её "Поющее дерево и птица-говорунья" и в своём известном сборнике поместил после основной: "По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре" (Народные русские сказки А.Н. Афанасьева в трёх томах. М., 1985. Т. 2. № 283–289). Обе версии учтены под № 707 в справочнике "Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка". Л., 1979; далее – СУС и номер.

Между тем у восточных славян узкий круг фольклорных текстов об-

разуется еще одну, третью, версию сказки “Чудесные дети”, которая в указателе не выделена. Ее можно назвать “Перевоплощения светоносных близнецов”. По нашему мнению, она отражает первоначальный, древнеславянский тип сюжета. Эта версия, известная русским, была записана преимущественно в западных районах Украины и Белоруссии. Она распространена также у сербов, хорватов, болгар, словаков (см.: Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmärchen der Br. Grimm / Neu bearb. von Johannes Bolte und Georg Polivka. Bd. 1–3. Leipzig, 1915. Bd. 2. S. 384–385). Следовательно, версия сохранилась на древнеславянской территории в фольклоре южных, восточных и западных славян.

Ее сюжетная схема такова:

1. Царь (король, пан) подслушал разговор трёх сестёр и женился на младшей, обещавшей родить сыновей-близнецов, излучающих небесный свет.

2. Новорождённых чудесных детей вредитель закопал (утопил), а царю подбросил детёнышей животных. Царь поверил клевете и прогнал жену.

3. С детьми стали происходить перевоплощения (в чудесные растения, животных). Всякий раз, когда вредитель стремился их уничтожить, они возрождались в новом облике и потому были неистребимы.

4. Под видом сказки дети рассказали отцу свою историю, а затем в подтверждение её правдивости обнаружили свои светоносные признаки. Казнь вредителя.

* * *

Сразу обращает на себя внимание мотив с линейной повторяемостью (3), несущий основную сюжетную нагрузку. Подобные мотивы входили в круг произведений, повествующих о том, что на могиле невинноубитого вырастает волшебное растение, которое помогает раскрыть тайну убийства. Сюжеты такого типа возникали у разных народов, разрабатывались в разных фольклорных жанрах: сказках, балладах, обрядовых песнях, причитаниях.

Обряды как консервативная область фольклора хорошо сохранили следы праалогического мышления древних. Оно основывалось на мистическом единстве человека с окружающим миром, что Л. Леви-Брюль назвал “законом партиципации”, то есть “сопричастия” (Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930. С. 43–69). Мировосприятие древних запечатлено во множественной семантике поэтических образов. Иногда фольклорный персонаж способен быть “всею сразу”. Например, севернорусская невеста, чтобы спастись от *чуж-чужанина*, в лесах и болотах прячется уткой, в морях и реках – рыбой. А.Ф. Лосев, приводя аналогичные примеры из античной мифологии, также отмечал господство принципа “все есть всё” или “все во всё”. “Зевс, – пи-

сал учёный. – оказывается и небом, и землёй, и воздухом, и морем, и подземным миром, и быком, и волком, и бараном, и орлом, и человеком. а иной раз просто жуком или каким-нибудь геометрическим телом. Аполлон тоже и свет, и тьма, и жизнь, и смерть, и небо, и земля, и баран, и волк, и мышь и ещё сотни всяких предметов и явлений”. Лосев также связал это с первобытной нерасчленённостью индивидуума, общества и природы. Он подчёркивал: “Отдельный индивидуум мыслит себя носителем каких угодно сил, то есть мыслит себя и всё прочее магически” (Лосев А.Ф. Античная мифология в её историческом развитии. М., 1957. С. 13).

Волшебная сказка разъединила архаичный полиморфизм образа, выстроила его превращения в цепочку, которая замыкается, когда персонаж вновь принимает первоначальный вид.

Это происходит и с чудесными близнецами. Их закапывают *на дворе, под порогом, в кустах, в навозе*. В одном варианте их утопили в реке (Казки Підгір'я. Ужгород, 1976. С. 111–112). Однако от речной воды, которой был полит палисадник, *виросла велика яблуня, а на ній – двоє золотих яблук*, – так же, как в другом варианте – на могиле детей (Курский сборник. Вып. 3: Материалы по этнографии Курской губ. Ч. 3: Сборники А.С. Машкина. Курск, 1903. № 4). Полагаем, что чудесная яблоня как излюбленный образ волшебной сказки – более поздняя замена явора, мифологическая сущность которого отчётливо просматривается в фольклоре восточных славян. Не случайно в большинстве текстов на могиле детей вырастают именно яворы: *золоті явори* (Захаровані казкою: Українські народні казки Закарпаття в записках П.В. Лінтура. Ужгород, 1984. № 11); *два явары – залатая галінка і срібрана* (Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. № 287).

Яворы переговариваются голосами детей: “Хиляся явир до явора: “Цы добрэ ся тобі, братчыку, стойть!” – “Добрэ, бо по-пры мэнэ мій гатунцэ ййдэ!” – “Ой, мэні нэдобрэ, бо по-пры мэнэ мацосьціцэ ййдэ!” (Яворский Ю.А. Памятники галицко-русской народной словесности. Вып. 1. Киев, 1915. № 646). Вредитель велит деревья срубить, чтобы сделать из них кровати. Но и кровати ночью переговариваются: “Чи легко тобі, братчыку?” – “Легко, бо на меші наш рідний татко лежить”. – “А мені тяжко, бо на мені та мачуха спить, що нас зі світу зжила” (Казки Підгір'я. С. 112).

Тогда вредитель приказывает кровати изрубить, сжечь в печи, а пепел высыпать на дорогу. Но превращения не прекращаются: “Гнаў па-стух авечкі; адна аўца забегла і попелу ўхваціла, прывяла два бараны: на лбе па мясяцу, на патыліцы па звездаццы (Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. № 287); “Положылы в пьец – выскочылы з пьэца дvi ыскры, зробылыся два бараны. Взялы тых бараніў до покою, – спят коло пана” (Яворский Ю.А. Памятники галицко-русской... № 646).

В одном белорусском варианте на могиле детей выросли цветы. Ми-

мо пробегала овца, “ухватила” цветок с могилы – и на бегу “окатилась” двумя баранчиками. А эти баранчики, “за нею бегучи, поперекиданы паничами” (Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Kraków, 1902. Т. 2. № 82). Здесь просматривается сходство с болгарским текстом (который, возможно, объясняет происхождение олицетворения кроватей): на могиле детей *выросли два чугунные дерева с серебряными листьями и золотыми цветами*. На сучьях этих деревьев отец детей устроил две постели: себе и новой жене. Ночью мачеха слышала, как деревья переговаривались. Она срубила их и сожгла, но родная мать близнецов посеяла пепел на грядке. “И вот к вечеру на грядке выросли два василька с золотыми венчиками и серебряными стеблями”. Мачеха выпустила в сад овцу, чтобы та сжевала цветы. “А к ночи эта овца принесла двух ягнят с серебряной шерстью и золотыми рожками” (Болгарские народные сказки. М., 1951. С. 80–84).

Встретился единичный случай перевоплощения чудесных яворов в *золотокрылых орлов* (Зачаровані казкою. № 11). Объяснение этому мы нашли у Х.П. Яцуржинского, который писал: “Новейший факт – изображение орла на государственном гербе – также вставлен в схему превращения. Народ говорит, что орлы из царей, и потому даже теперь орлы вырезаны на царских печатях” (Яцуржинский Х.П. О превращениях в малорусских сказках // Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. Київ, 1991. С. 563).

В данном оригинальном варианте мотив превращений имел ещё одно заимствование – из Библии. В первой книге “Бытия” читаем: “Во время родов её оказалось, что близнецы в утробе её. И во время родов её показалась рука [одного]; и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: этот вышел первый” (38, 27–28). Аналогичная деталь появилась в сказке: “Народила вона двох золотоволосих хлопчиків-близнюків. Аби визнавати того, котрий перший народився, цариця прив'язала йому на руку шовковий пантлик”. Позже из двух цепочек, отлетевших от яворов, сделались два золотокрылых орла. “Они стрепали крилами та й полетіли високо пошід небеса. У одного на крилі мала шовкова шматина”.

Чудесных ягнят вредитель велит резать. Однако их мать *вышла, кішки падабрала, зваріла і з'ела і стала у ценьжы і привела два сыны: на лбе на місяці, на патыліцы на звездацы* (Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. № 287). В другом варианте: “йісты бараніў она нэ йіла, бо вжэ знала, що то ей дйты, лышь вси кысткй збырала и до мйха ховала, кэрвавымы слэзаы их умывала. Як ти кысткй вызбырала вси, зробылься два хлбнци з тых кыстк” (Яворский Ю.А. Памятники галицко-русской... № 646).

Итак, вырисовывается устойчивая цепочка перевоплощений: *мальчики-близнецы – два явора – ягнята-близнецы – снова мальчики-близнецы*. Все образы имеют чудесные, светоносные признаки.

Столь выраженное оборотничество, да и сам художественный принцип линейного повтора – явный след мифологической сказки. Характерно также, что отсутствует образ освободителя, обязательный для волшебной сказки классического типа. В древней версии сюжета эквивалентное значение имела череда перевоплощений детей как способ достижения бессмертия.



Разделить сказочные формы на древние (близкие к мифам) и более поздние (относящиеся уже только к сказкам) впервые предложил А.Н. Веселовский. С этим он связал вопрос об исторической поэтике сказки (Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 455). Мифологическая сказка относится ко времени “дорефлексивного традиционализма” (Аверинцев С.С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации // Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. М., 1986). Признаками сказки мифологического периода являлись бесформенность, диффузность, неустойчивая конкретность образов и сюжетных схем, невыраженность жанрового рефлекса, синкретизм (в частности, следы магической функции).

Отголоски мифологической сказки, присутствующие в славянском устном народном творчестве, заставили фольклористов обратить на неё внимание. Закарпатский учёный П.В. Линтур отметил “кровное родство” некоторых сказок с балладами мифологического содержания. Он предложил для них общий термин “сказка-баллада”, который, как нам представляется, синонимичен мифологической сказке. Чертой, присущей этому жанру, Линтур считал чередование прозаического текста и несенных строк (“прозаический текст служит как будто комментарием к лиро-эпической песне”). Исследователь указал на общие архаичные сюжетные типы, на “генетическую связь между обрядовой поэзией, сказочным творчеством и балладными песнями” (Линтур П.В. Балладная песня и народная сказка // Славянский фольклор. М., 1972. С. 166, 176).

В свете этого особое значение приобретают имевшие место факты фиксации сюжета “Чудесные дети” в песенной форме. Один из таких текстов был записан на Западной Украине. В нём ребёнок подменён козлёнком:

Породила она сыночка такого:
З ясным месячечком и з яснов звездойков.
Зла проклята баба сыночка хопила,
До орда заднила, в Дунай го трутила.
А козлятко взяла, красне го повила,
Красне го повила, к личку притулила.

(Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собр. Я.Ф. Головацким. Ч. I. М., 1878. С. 89–90).

Существует мнение о противопоставлении мифологических образов козла и барана (Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 663–664; Т. 2. С. 237–238). Однако славянский материал свидетельствует об их взаимозаменяемости и даже отождествлении. Например, колядующие могли рядиться как в одно, так и в другое животное. В Рязанской губ. при этом пели песню *барашике*, у которого *козья борода*. Словаки считали, что накануне Рождества на небе появляется баран с золотыми рогами. Золоторогий баран упоминается в моравских песнях. П.Г. Богатырёв описал чешский (а в некоторых районах и немецкий) обряд *сбрасывания козла с колокольни*, который бытовал в XIX веке как народная забава: “Козла украшали лентами и цветами. рога покрывали позолотой и с музыкой и пением вели на казнь. Этот обряд совершался 25 июля в день св. Якуба” (Богатырёв П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 34). Болгары верили в целебную силу крови жертвенного барана, которого закалывали в Юрьев день, а в Чехии точно так же верили в целебную силу крови жертвенного козла.

Можно говорить о синонимии перевоплощения чудесных детей в баранчиков или козлят. Подмсна козлёнком – ослабленный вариант перевоплощения в него. О прямом перевоплощении мальчика в козлёнка повествуется в другой сказке – “Братец и сестрица” (СУС, 450), где сохранилась древняя обрядовая песня жертвоприношения козла:

Аленушка, сестрица моя!
Меня хотят зарезати;
Костры кладут высокие,
Котлы греют чугунные,
Ножи точат булатные!

(Народные русские сказки А.Н. Афанасьева, № 261).

Непосредственно обрядовый текст такой песни привёл И.И.Срезневский: “За рекою, за быстрою – леса стоят дремучие: в тех лесах огни горят, огни горят великие; вокруг огней скамьи стоят, скамьи стоят дубовые; на тех скамьях добры молодцы, красны девицы, ноют песни колёдушки. Во серёдке их старик сидит, и он точит свой булатный нож; возле него козёл стоит... Хотят козла зарезати” (Срезневский И.И. О языческом богослужении древних славян. СПб., 1848. С. 73).

Наконец отметим, что в некоторых украинских и белорусских вариантах сказки “Братец и сестрица” мальчик перевоплощается не в козлёнка, а в баранчика (Чарадзейныя казкі. Ч. 2. Мінск, 1978. № 56; Казкі Підгір'я. С. 99–102).

Второй пример песенной формы – из фольклора Русского Севера. В ряде вариантов баллады “Князь Михайла и рябинка” злая свекровь

оборачивает рябинкой невестку, которая беременна двумя чудесными близнецами. Она советует сыну срубить рябинку.

А послушалси д`сын да своей матушки,
 Ён сходил, срубил ребинушку д`кудрёвастую.
 Ён срубил ту ребинку да посередочки.
 Посмотрел – из ребинушки руда пошла.
 “Не ребинку я срубил да ни кудрёвастую,
 А срубил да я сгубил да молодú жону.
 А у ей было во щеври два младенчика,
 У младенцей по колен да ножки в сёребри,
 А у их да по локёт да руцки в золоти,
 А во лбу у них пекёт да красное солнышко,
 А в затылоцьки пекет да млад-свитёл мисёл,
 А по всем да по младенцям да мелки звездоцьки.

(Онежские былины. М., 1948. № 229). Здесь, в отличие от украинской баллады, творчески использован иной элемент некогда полисемантического образа чудесных близнецов: дети-деревья.

Полагаем, что следы древней песенной формы сохранила и особая сюжетная развязка, как бы приспособленная к структуре напева. Она единично появлялась в разных произведениях сказочной группы о невинногонимой матери. Развязка представляла собой ритмическое повторение всего сюжета, что иногда соединялось с игрой в орехи “чёт или нечет”. Такой обычай был описан Е.Р. Романовым: «Сказки в Белоруссии рассказываются в исключительно долгие зимние вечера, и преимущественно в “святые вечера” – с 25 декабря по 6 января, в которые всякие работы, даже лёгкие, воспрещаются. Они всецело посвящаются веселью, играм. Среди игр не последнее место занимает игра в орехи, “в цот ай лишку”. Близ г. Сенна, в д. Латыгове, вышеприведённая сказка рассказывается именно в связи с игрою “в цот ай лишку”» (Романов Е.Р. Белорусский сборник. Витебск, 1887. Вып. 3. С. 302).

Комментарий Романова относился к сказке № 62б – одному из вариантов поздней, новеллизированной версии сюжета “Чудесные дети”. Тем не менее этот белорусский вариант сохранил архаичные признаки песенной формы мифологической сказки. В нём сын велел матери одеться нищенкой, сделал себе *лясковенькую скрыпку* – и они отправились на свадьбу царя с сестрой оклеветанной царицы. Мальчик подошёл под окошко и *зайграв у скрыпучку дужо прыгожо*. Почув цар тэй, што прыгожо нехто йграець: “Возьмем, – кажець, – гэтыго музыку!” А жонка кажець: “Не, ня треба браць!” – “Не, – кажець, – возьмем – прыгожо играець!” Яны его ўзяли. “Идзи, мамка, сядзь за печкый, а я пойграю!” Унёс цар тэй коронку орехув: “А хто гэты орехи отгыдаець, опину я тому пуловина царства!” И нихто ня ўзявся. Тольки тэй малец

кажець: “Я отгыдаю!” Цётка яго закричала: “Ты ня ’тгыдасешь!” Ны яе уси крикнули: “Не, нехай отгадыець!” Ен став отгадываць:

Было ў бацьки три дочкі – цот пара орешкув!
Голыс у голыс, волыс у волюс – цот пара орешкув!
Сплёв им бацька по лубучы – цот пара орешкув!
Пошли тыя дочки у грибы – цот пара орешкув!
Пошов дужо сильный дождж – цот пара орешкув!
Сели яны пьд бязезинкый – цот пара орешкув!
Дужо сильный дождж ишов – цот пара орешкув!
Аж побегла речка чераз царський двор – цот пара орешкув!

⟨И т.д. полное повторение всей сказки. – Т.З.⟩. *Перамічив усе орехи, ды шапычку з гылывы и зняв – аў яго на лбе месиц, а в потылицы зорки!*”.

Из контекста ясно, что “отгадывая” орехи, мальчик-музыкант свою историю пропел.

Повторение “сказки в сказке” – известный повествовательный приём. К примеру, так строилась развязка в тематически близкой сказке литературного происхождения “Бова-королевич” (СУС, 707В³). Однако ритм в развязках такого типа возникал не всегда. Там, где концовка была приспособлена для игры в “чёт или нечёт”, появлялось присловье, повторявшееся после каждой фразы. В рассмотренном выше варианте из сборника Романова им было *цот пара орешкув!* Аналогично в тематически близкой сказке “Безручка” (СУС, 706): “Два ореха в короб, два из короба...” (Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. № 280). Возникал эпический ритм, передававший напевный облик мифологической “сказки-баллады”.

Примечательно, что каждый второй вариант древней версии сказки “Чудесные дети” имеет именно такую развязку. Принявшие первоначальный вид близнецы либо сами просятся в дом к отцу, либо попадают к нему на собственные поминки, либо рекомендованы как умельцы *байкі баяць*. Они повторяют свою историю – в сборнике Федоровского с присловьем “Dwa hariészki i kórab” (Federowski M. Lud białoruski... Т. 2. № 82; см. также: Яворский Ю.А. Памятники галицко-русской... № 64б; Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. № 287). Можно твёрдо предположить, что подобные ритмические повторы пелись.

Окончание следует



АНГЛИЙСКИЙ СПЛИН И РУССКАЯ ХАНДРА...

А.В. АЛЕКСЕЕВ

В начале XIX века в русском языке появилось новое существительное, выразившее понятие тоски или скуки – *сплин*. Заимствованное из английского (*spleen*), оно впервые, видимо, было введено в художественный текст Пушкиным в “Евгении Онегине”: “Недуг, которого причину/ Давно бы отыскать пора, / Подобный английскому *сплину*, / Короче: русская *хандра* / Им овладела понемногу”. И в другой главе: “Но это кто в толпе избранной / Стоит безмолвный и туманный? <...> Что, сплин иль страждущая спесь / В его лице? Зачем он здесь?”. Действительно, зачем? С какой целью поэт несколько раз употребил в “романе в стихах” чужое, иноязычное слово?

Дело в том, что последователи романтизма, к которым на первом этапе творчества принадлежал и Пушкин, уделяли особое внимание изображению мира человеческих переживаний. В литературной традиции, созданной английским поэтом Байроном, одним из ключевых понятий, связанных со сферой эмоциональной жизни, считалась “романтическая тоска, скука”. В числе средств обозначения такой “тоски”, то есть особой, “высокой” печали, унылого настроения души, связанного с разочарованием в жизни, и было английское *spleen*. Вместе с заимство-

ванием литературных присмов и образов произошло заимствование русской поэзией этого слова. Вот как пишет сам Пушкин в предисловии к первой главе “Евгения Онегина” о тех литературных ассоциациях, которые могли быть вызваны его романом: “[Первая глава] заключает в себе описание светской жизни петербургского молодого человека, в конце 1819 года и напоминает... Беппо, шуточное произведение мрачного Байрона”. Любопытно, что помимо “романа в стихах” *сплин* не встречается больше ни в одном из художественных произведений Пушкина, ср. в одном из его писем: “Милый мой ангел! Я было написал тебе письмо на 4 страницах, но оно вышло такое горькое и мрачное, что я его тебе не послал, а пишу другое. У меня репительное сплин. Скучно жить без тебя...” (Н.Н. Пушкиной, 8 июня 1834 г.). Видимо, использование слова *сплин* в “Евгении Онегине” было определено особыми стилистическими, художественными целями.

Онегин с его бесплодной тоской, с чувством уныния, которое “поглотило все прочее” (выражение Пушкина, употребленное им в предисловии к первой главе), оказался в ряду модных в начале XIX века, так называемых “байронических” героев. Их наиболее ярким представителем был Чайльд-Гарольд, персонаж поэмы Байрона “Паломничество Чайльда-Гарольда” (написанной в 1812–1818 годах). Известно, что Пушкин читал эту поэму во время работы над “романом в стихах” (см. Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995). Таким образом, сплин у Пушкина не только обозначает одно из основных чувств, владеющих Онегиным, но и указывает на нерусский, заимствованный характер такого эмоционального состояния: *английский сплин*.

Следует отметить, что данное слово не распространилось в языке русской литературы и осталось особенностью романтической стилистики первой половины XIX века, ср. у Лермонтова (княгиня Лиговская – Печорину): “...вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин...” (Княжна Мери). В языке второй половины XIX–XX веков *сплин* употребляется лишь в исключительных случаях, как правило, для характеристики персонажа, ср.: “[Боркин]... Сообщил ему одну чудную идею, но мой порох, но обыкновению, уцал на влажную почву... Ему не втолкуешь... Посмотрите: на что он похож? Меланхолия, сплин, тоска, хандра, грусть...” (Чехов. Иванов).

Вместе со *сплинном* в начале XIX века появилось в произведениях литературы и другое существительное, противопоставленное *сплину* как русское, но столь же новое для языка поэзии и художественной прозы, *хандра*. Например: “Румяный критик мой, насмешник толстопузый, / Готовый век трунить над нашей томной музой, / Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, / Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой” (Пушкин. “Румяный критик...”). Чтобы понять историю этого слова, следует вспомнить о еще двух не очень употребительных существи-

тельных, имевших значение “подавленное состояние духа” : *меланхолия* и *ипохондрия*. Какова в общих чертах история их появления в русском языке? (Подробно см.: Отин Е.С. “Меланхолия, которая болезнь называется хипохондрия” // Русская речь. 1986. № 2).

Оба слова восходят к греческому языку. *Melanholia* (*melas* “черный” + *hole* “желчь”) имело смысл “разлитие, переизбыток черной желчи” и “вызванная этим переизбытком болезнь: душевная угнетенность”. *Hypochondria* (*hypo* “под” + *hondros* “грудная кость”) значило “часть тела, орган, расположенный ниже грудной кости”, а также “болезнь, развивающаяся в этом органе: подавленное состояние духа”. В обоих случаях формирование значения “душевная угнетенность” было обусловлено бытовавшими в средневековой медицине представлениями о тесной связи между физическим и психическим состояниями человека. Важно отметить, что и *сплин* восходит в конечном счете к греческому существительному *splen*, имевшему значения “селезенка” и “болезнь, связанная с душевной угнетенностью”.

Из греческого *меланхолия* и *ипохондрия* перешли в средневековую медицинскую латынь, а в XVI–XVII веках оказались заимствованы русским языком. В памятниках указанного периода они были представлены в различных орфографических вариантах – *мелавхолия*, *меленколия*, *хипохондриа*, *похондриа*, *ипохондриум* и т.д. – и употреблялись как синонимы, ср.: “Болезнь: хипокондрика, именуемая и меланхолия, и в голове обморок” (Материалы медицинские. 1679. Пример из Картоотеки Древнерусского словаря). Заимствование этих двух слов было связано с обогащением древнерусского понятия “скорбь, печаль, тоска”. В XI–XIV веках обращалось внимание на социальную значимость переживания, соответственно для Древней Руси *горе*, *печаль*, *туга*, *скорьбь* – это зачастую “публичные стенания, плач” и “событие, послужившее причиной горя для многих людей: пожар, голод и т.д.”. Теперь же рассматривался в первую очередь отдельный человек, в соответствии с представлениями эпохи, в единстве и неразрывной связи своей психики и физиологии, отсюда одна из разновидностей подавленного состояния – “душевное проявление телесного недуга”.

Дальнейшая судьба двух существительных оказалась различной. *Меланхолия* распространилось в более широких контекстах и из естественнонаучных сочинений проникло в сферу художественной литературы, где закрепилось в единственной форме, *меланхолия*. В результате семантического взаимодействия с другими членами синонимического ряда (*горе*, *тоска* и др.) произошла смысловая трансформация слова: *меланхолия* стало обозначать чисто психическое, не имеющее отношения к физиологии явление; при этом исчезло указание на болезненность, патологический характер эмоции – развилось значение “легкая, незначительная печаль или тоска”. Такое смысловое движение во многом направлялось требованиями эстетики сентиментализма, в рамках

которого уделялось особое внимание отображению человеческих переживаний и, в частности, таких, которые прежде не находили своего лексического выражения: “О Меланхолия! нежнейший перелив / От скорби и тоски к утехам наслажденья! / Веселья еще нет, и нет уже мученья; / Отчаянье прошло... Но, слезы осушив, / Ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь / И матери своей, Печали, вид имеешь” (Карамзин. Меланхолия).

Существительное же *ипохондрия* не претерпело принципиальных смысловых изменений: осталось терминологическим обозначением определенного вида болезни. Однако в результате его вульгарной переделки в разговорном языке возникло новое слово – *хандра*. Оно получилось из усеченного варианта исходного слова (*похондрия*), из развившейся на его базе вторичной глагольной формы *похондрить* (Отин Е.С. Указ. соч.). В литературный язык существительное проникло в начале XIX века, когда в творчестве Пушкина получил свое максимальное воплощение процесс демократизации языка, выразившийся, в частности, в пополнении синонимического ряда “печаль, скорбь, уныние” за счет народно-разговорной и народно-поэтической лексики. Словарь языка Пушкина отмечает 19 случаев употребления *хандры*, однако большинство из них – 13 – приходится на различные письма поэта: он активно использовал слово в обычной речи, однако считал не вполне еще допустимым и уместным его употребление в поэтических произведениях и в художественной прозе. Исключение составляет “Евгений Онегин”. То, что *хандра* встречается в “романе в стихах” целых четыре раза (ср. с общей статистикой), объясняется стремлением поэта найти наиболее адекватное слово для выражения особого, “романтического” состояния души. Пушкину, видимо, не казались вполне удачными терминами ни заимствованное *сплин*, ни популярное у сентименталистов *меланхолия*, ни традиционные русские *печаль* или *туга* – и потому поэт обратился к ресурсам народно-разговорного языка. Вспомним еще раз приведенную цитату: “Недуг, которого причину / Давно бы отыскать пора. / Подобный английскому *сплину*, / Короч: русская хандра / Им овладела понемногу” (Евгений Онегин).

Благодаря Пушкину смысл слова *хандра* в XIX веке заметно обогатился, произошло концептуальное наполнение лексического значения, существительное вступило в парадигматические отношения с членами различных синонимических рядов, ср.: “Потом увидел ясно он, / Что и в деревне скука та же / ... хандра ждала его на страже / И бегала за ним она, / Как тень иль верная жена” (Евгений Онегин); “[Версильов] – Мне сегодня как-то до странности гадко – хандра, что ли?” (Достоевский. Подросток).

Однако чаще всего *хандра* все же имела в литературе XIX века стилистический оттенок разговорного слова. Ср.: “[Платонов] – Я решил-ся, Вася, проездиться вместе с Павлом Ивановичем по святой Руси.

Авось-либо это разнычет хандру мою” (Гоголь. Мертвые души); «[Версиров] – Это – уж другой тип непорядочного и даже, может быть, омерзительнее первого. Первый – весь восторг! “Да ты дай только соврать – посмотри, как хорошо, выйдет”. Второй – весь хандра и проза: “Не дам соврать, где, когда, в котором году?” – одним словом, человек без сердца» (Достоевский. Подросток).

Любопытно заметить, что и *меланхолия* приобрело в XIX веке особую стилистическую окраску, теперь уже не “сентиментальную”, как прежде, а “романтическую”. Слово стало указывать на такое душевное неудовольствие, которое присуще прежде всего персонажу (зачастую сниженному), подверженному романтическим настроениям, на уныние или тоску, возникающие без видимых, существенных причин. И очень часто такая *меланхолия* рассматривалась уже как отрицательное явление. Ср.: “[Иванов:] Я надсмехался над собой и от стыда едва не сошел с ума. (Смеется) Меланхолия! Благородная тоска! Безотчетная скорбь! Недостает еще, чтобы я стихи писал. Нить, петь Лазаря, нагонять тоску на людей, сознавать, что энергия жизни утрачена навсегда, что я заржавел, отжил свое, что я поддался слабодушию и по уши увяз в этой гнусной меланхолии, – сознавать это, когда солнце ярко светит, когда даже муравей тащит свою ношу и доволен собою, – нет, слуга покорный!” (Чехов. Иванов).

Итак, *сплин* и *хандра*, а также *меланхолия* и *ипохондрия* – все эти существительные служили средством выражения специфических понятий, порожденных той или иной “модной”, актуальной для эпохи системой взглядов (“душевная и одновременно телесная болезнь” – до XVIII века, «“сентиментальная”, элегическая печаль» и «“романтическое” уныние» в XVIII–XIX веках).

Меланхолия и *ипохондрия* распространились в сфере медицинской терминологии XVI–XVII веков, но после углубления и расширения естественнонаучных знаний должны были семантически перестроиться. Их история в русском языке стала своеобразным отражением эволюции английской лексемы *spleen*, которая из обозначения селезенки и душевной болезни превратилась в один из символов романтической литературы – и именно в таком качестве была заимствована русской поэзией. Так же и *меланхолия* сделалась “сентиментальным” и “романтическим” словом и вследствие того словно бы заново родилась в языке. А *ипохондрия* так и осталась устаревшим медицинским термином, однако породила в результате своей вульгарной переделки новую лексему – *хандра*. Последняя, в свою очередь, развила иной, чем *ипохондрия*, смысл при функционировании в народно-разговорной среде и значительно его обогатила в результате последующего проникновения в язык художественной литературы.

В современном языке лексема *сплин* уже практически вышла из употребления. *Хандра* превратилась в стилистически нейтральное сло-

во. однако намного уступает в частотности таким существительным, как *печаль* или *тоска* (тот же смысл чаще передается глаголом *хандрить*). Достаточно редким словом остается и *меланхолия*. Ср.: “Когда приходила хандра, Левитан бежал от людей. Они казались ему врагами” (Паустовский. Исаак Левитан); “Яльмар что-то хандрит последние дни, его следует развлечь” (Арбузов. Евронейская хроника); “Тревога за необеспеченное положение детей часто овладевала ею, и она начала по временам впадать в меланхолию” (Морозов. Повесть моей жизни).



Мал золотник, да дорог

С.В. ТАРАКАНОВА

Нам, носителям современного русского языка, хорошо известно слово *золотник* по выражению *Мал золотник, да дорог*. Мы употребляем его, когда хотим сказать о чем-то незначительном с виду, но ценном по своему содержанию. Это слово фигурирует и в других выражениях, для нас менее известных, но достаточно распространенных в конце прошлого и начале нынешнего столетия: *Свой золотничок чужого пуда дороже: Беды кульем валяются, а счастье – золотниками; Мал золотник – да на руке носить, велик верблюд – да воду возить; Мал золотник, да дорог, велик фунт, да бросит* и некоторых других. Безусловно, значение слова *золотник* во всех этих выражениях образное, переносное. А каково же первоначальное, истинное его значение, и почему *золотник* был дорог? Попробуем в этом разобраться.

По данным этимологических словарей, это слово – собственно русское, произошло оно от *золото* “драгоценный металл” и употреблялось первоначально в двух формах: с полногласием *золотник* и с неполногласием *златник*.

В памятники письменности *золотник* попадает достаточно рано, в частности, в Договоре с греками 945 года читаем: “Въходяще же русь в град, да не имеютъ волости купити поволок лише 50 златъник” (Софийская первая летопись. ПСРЛ. СПб., 1853. Т. VI). В этом примере точно не известно, что обозначает *золотник*: золотую монету или слиток золота, который в древности употреблялся в качестве единицы денежного обращения.

В другом примере, тоже раннего периода, в Лаврентьевской летописи под 1179 годом *золотник* имеет уже вполне определенное значение “золотая монета”: “А ноне ворочю все что есм поимал у шюрину свою у Мстислава и у Ярополка и до золотника” (Лаврентьевская летопись. ПСРЛ. Изд. 2-е. Л., 1926–1928. Т. I). С этим же значением “золотая монета” *золотник* употребляется и в более позднем памятнике XVII века при описании Китая: “Льют у них [китайцев] серебро коробками маленькими и плетками и весят весом ланами, а лана понашему весом 8 гривен. а в неи 10 чинов понашему 10 золотников, а в золотнику их будет 8 копейк” (Описание книги сея государства китайского или хинского, 1734 г. Рукопись б-ки Смоленского пед. ин-та).

Наименование *золотник* в значении “золотая монета” было хорошо известно в древности, это подтверждается данными различных пись-

менных источников. Некоторые же историки утверждают, что начиная с конца XII века в товарно-денежном обращении большей популярностью пользовались монеты, сделанные из серебра (Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1965). На наш взгляд, более широкую известность *золотник* приобрел в своем метрологическом значении “мера веса”. С ним же слово встречается в памятниках письменности с XIII века. Так, в Договорной грамоте Смоленского князя Мстислава Равировича с Ригой и Готским берегом под 1229 годом читаем: “Весити точное серебро без 10 золотников”. В более позднем памятнике 1676 года в перечне подарков царю упоминается: “Кубок серебрян... весу 5-ть фунтов 58-м золотников” (Подарки патриарха царю при венчании). В этом примере *золотник* фигурирует как часть более крупной весовой единицы – фунта. Упоминается слово и в частной переписке, правда, со своеобразной орфографией: “Пят[ь] залатников жемчугу рассыпънова мелкава” (Грамотки XVII – нач. XVIII века. Под ред. С.И. Коткова. М., 1969).

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что сфера применения *золотника* вполне определенная: золотниками взвешивали драгоценные металлы, изделия из них и драгоценные камни. Скорее всего, значение слова “мера веса” или “единица взвешивания” было производным от значения “золотая монета” или “золотой слиток”. Такое развитие значения – путем метонимического переноса – будет вполне логичным (подобным образом происходило развитие метрологического значения и у слова *гривна*: вначале оно означало денежную единицу, слиток золота, затем – весовую единицу для взвешивания драгоценных металлов и камней).

Золотником назывался небольшой, но точный вес. “Торговая книга” давала торговым людям подробное описание мер, существовавших на Руси в древности. В этой Книге указывались не только названия мер, но и их соотношение друг к другу, а интересующий нас *золотник* сравнивается самым точным образом с более мелкой единицей *почкой* и в то же время с более крупной – *фунтом*: вес золотника составлял 25 почек (но современной метрической системе – 4,267 г) или 1/96 часть фунта (фунт равнялся 409,5 г).

Несмотря на такой небольшой вес, золотник мог делиться, об этом свидетельствуют встречающиеся в памятниках письменности наименования *полужолотник* и *ползлатник*, которые означали вес, равный половине золотника. В одном из памятников сообщается о весах, которые показывают вес на ползолотника в пользу продавца, что явилось вполне справедливым основанием для жалобы: “И нынеча нам на вас боле жалоба, в ваших весех у беръковьска полунуда нет, а в серебряных весех полужолотьяника, по хрестьному цолованью штобы есте то поцравили” (Полоцкие грамоты XIII – нач. XIV в. М., 1977).

Кроме обычного золотника, единицы торговой, в XVII–XVIII веках

и позднее был распространен *золотник аптекарский*, применяемый соответственно в аптекарском деле. Специалисты по исторической метрологии утверждают, что величина этого золотника отличалась от величины обычного, она составляла 1/4 часть унции или 1/8 часть унции (унция равнялась 29,8 г), такую же величину имела другая аптекарская единица веса – *драхма* (равнялась 3,73 г; Кузнецов С.К. Древнерусская метрология. Малмыж-на-Вятке, 1913).

Параллельно с наименованием *золотник* в языке употреблялись и производимые от него прилагательные, которые вместе с существительными образовывали следующие терминологические сочетания: *золотниковый вес*; *золотничная пошлина* – так называлась пошлина, взимаемая с золотника золота и серебра: “На государеве на денежном дворе... что взято в казну серебра у торговых людей, и что с того серебра взято золотничной пошлины... и тому книги” (Акты, относящиеся до юридического быта России. СПб., 1857–1884). *Золотниковый разновес* – так называлась гиря-рычаг, весом в золотник; в разговорной речи для обозначения ниток и тонкого, дорогого товара, который продавался за золотники, использовалось сочетание *золотничный товар* (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978–1980. Т. 1).

Если первоначально золотник использовался для взвешивания драгоценных металлов и камней, то с течением времени сфера его применения несколько расширилась. Но не изменилась. По-прежнему на золотники взвешивали ценный товар, чаще всего привозимый из-за границы, например, гвоздику, корицу, другие пряности, а также шелк: “...Куплено шелку на шитво на ризы два золотника дано два алтына” (Памятники деловой письменности XVII в. Владимирский край. М., 1984); “Украли сто и сорок золотников шолку червчатого бурского” (Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымом. СПб., 1895).

В торговых документах часто упоминается о том, что шелк измерялся мерами веса, вероятнее всего, имелся в виду шелк-сырец, а не ткань, может быть, пряденый или крученый шелк.

Имеются сведения, что золотниками измерялся и объем жидкостей, прежде всего вина: “Да учинили б есте заповедь о продажных винах и о весном товар, чтоб врознь не продавали, а учнут продавати, ть имати заповедь от чарки по два рубля, а от стопы по три рубля, от ведра по пяти рублей, а от золотника иметь по два рубля” (Строгановские грамоты XVI–XVII вв. // Дмитриев А. Пермская старина. Пермь, 1995. Вып. VI); позднее – духи, например: “Духи Коти на золотники” (Маяковский. Клоп).

Золотник в значении “единица веса” просуществовал в русском языке достаточно долго. Попутно заметим, что древнерусская традиция продолжалась и в других славянских языках, в частности в старобе-

лорусском – *золотник* употреблялся сначала в значении “денежная единица”, затем – “единица веса”: “Я дал робити пятьдесят золотников и два серебра а шольку пят[ъ]десять же золотников” (Белорусский архив. II. Минск, 1927–1930); “...десять золотников ровного жемчугу, а золотник по копе грошей” (Акты, относящиеся к истории Западной России. II. СПб., 1846–1853).

В конце XVII века, когда в метрологическую систему уже прочно вошла повсеместно употребляемая мера (соответственно и наименование) – *фунт*, которая равнялась 96 золотникам, иногда при расходе серебра, превышающем по весу 96 золотников, количество серебра все же указывалось по традиции в золотниках, а не в фунтах. Так, имеются сведения, что в 1696–1697 годах в Пыскорском монастыре делали новые серебряные оклады и венцы на иконах, на эту работу было израсходовано серебра “488 золотников с ползолотником” (Грамоты Коллегии экономии. Соликамские акты). В качестве мелкой единицы веса *золотник* употреблялся вплоть до введения единой метрической системы, но в основном в ювелирном и аптекарском деле. Историки отмечают, что еще в начале XX века золотниками определялся вес чистого золота в монетах – золотых червонцах (Каменцева, Устюгов. Указ. соч.).

Слово *золотник* в значении “небольшая единица веса” употреблялось достаточно широко не только в терминологических контекстах, но начиная с XVIII и до XX веков его можно было встретить и в художественных текстах. Например, в пьесе А.П. Чехова “Три сестры” Чебутыкин вспоминает рецепт, в котором рекомендуется: “При выпадении волос... два золотника нафталина на полбутылки спирта”.

В романе Д.Н. Мамина-Сибиряка “Золото” один из героев достоверно сообщает: “Когда я Фотьяновскую россыпь открыл, содержание в песках полтора золотника на сто пудов, значит, с работой обопелся он казне много-много шесть гривен, а правитель Фролов по три рубля золотых ставил”. Там же автор употребляет выражение *на золотник выйти* и сразу поясняет “значит найти золотоносный пласт с содержанием золота в 100 пудах песку 1 золотник”.

В этих примерах *золотник* употреблен в своем прямом, метрологическом значении, а вот в следующем ряде примеров мы сталкиваемся с очень оригинальным употреблением этого слова. В начале XVIII века особенно популярными были пародии на лечебники, по форме напоминающие серьезные лечебники, а по содержанию – сказки-небылицы. В таких лечебниках-пародиях можно было встретить следующий рецепт: “...взять женского плясания и сердечного прижимания, и ладонного плескания по 6 золотников, самого тонкого блохиного скоку 17 золотников и смешати вместе” (Литер. Вестник. 1802. Кн. 7). Эта традиция была продолжена сатирической литературой второй половины XVIII века, которая, используя оригинальную форму старинных рецептов,

пыталась отметить те или иные недостатки общества своего времени и указать средства к их исправлению. Так, в журнале Н.И. Новикова “Трутень” советуют: “чувствований истинного человечества 3 лота, любви к ближнему 2 золотника и соболезнования к нещастию рабов 3 золотника, положи вместе истолочь и давать больному в теплой воде”. Во всех этих примерах *золотник* имеет образное значение “какое-то небольшое количество”, а наименование этой единицы употребляется для придания пародии формы рецепта, что в конечном итоге создает комический эффект.

Образное значение *золотника* послужило основой для создания целого ряда ярких и недвусмысленных пословиц и поговорок, в которых слово *золотник* выполняет различные функции. Чаще всего он используется для оценки качеств человека или какой-либо вещи: *Мал золотник, да дорог, и велик фунт, да бросит; Мал золотник – да дорог, велика Федора – да дура; Мал золотник – да на руке носить, а велик верблюд – да воду возить; Мал золотник, да увесист*. Эти выражения используют, когда характеризуют человека маленького роста или молодого, но имеющего много положительных качеств. *Золотник* в данных выражениях выступает в значении “незначительный с виду”, которое усиливается количественно-определятельными словами: *мал – увесист*. Пословицы *Дурак, который получает золотниками, а издерживает фунтами; Беды кульём валятся, а счастье золотниками* – тоже характеризуют человека и его состояние, но *золотник* в них выполняет функцию количественную и употребляется в значении “мало”. А в пословице: *Болезнь входит пудом, а выходит золотниками* или у Даля мы находим ее вариант: *Здоровье выходит пудами, а входит золотниками* – *золотник* употреблен в значении “медленно, понемногу”, т.е. выполняет функцию временной оценки.

Сейчас, употребляя выражение *Мал золотник, да дорог*, мы используем лишь первую часть рассмотренных пословиц и, конечно же, не пытаемся соотнести слово *золотник* с определенной метрологической величиной в 4,267 г или со слитком золота, эти значения давно устарели и забыты. А *золотник* ассоциируется у нас с чем-то небольшим, но ценным, значит он по-прежнему остается дорогим.

Коломна,
Московская область

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА КОНЦА XX в.

Языковые изменения

Когда люди, простецы и ученые мужи, размышляют над соотношением языка и жизни, рождаются броские гносеологические метафоры типа “язык – это зеркало бытия”, “язык – это часть бытия” или известная хайдеггеровская формула “язык – это дом бытия”. И хотя существо дела такого рода изречения заметно огрубляют, главное в упомянутом соотношении они определенно схватывают и отражают. Это главное – нерасторжимая связь языка и отражаемой в нем окружающей жизни. Действительно, когда бытие упорядоченно и спокойно, так же размеренно и безмятежно осуществляется и жизнь языка. Последний при этом, конечно, изменяется вслед за переменами в окружающей жизни, но для его носителей подобные изменения практически незаметны ввиду их естественности, постепенности и количественной малости. Когда же приходят времена беспокойствия и бытийных катастроф, сразу и ощутимо меняются ритмы всех языковых процессов. Особенно наглядно и выразительно происходящие в языке перемены представлены в его лексике, ярким подтверждением чего может служить “Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения”, опубликованный издательством “Фолио-пресс” в 1998 году.

Этот замечательный во многих отношениях словарь создан группой лексикографов словарного сектора Института лингвистических исследований РАН под руководством проф. Г.А. Складневской. Как явствует из его названия, Словарь должен прежде всего отразить реакцию русского языка на грандиозные по масштабам события, случившиеся в нашем государстве на исходе XX столетия. Внимательный анализ Словаря, его словника и объяснительных текстовых отрезков, сопоставляемых каждой заголовочной единицей, не оставляет сомнений в том, что с этой задачей рецензируемое лексикографическое произведение в основном справилось. Однако все по порядку.

Известно, что успешность любого ограниченного словаря, т.е. словаря, описывающего отдельный фрагмент лексической системы, во многом зависит от качества его словника. В обсуждаемом словаре словник составляют лексические единицы четырех основных групп. Первая группа – это новые слова, каковыми авторы предлагают считать все лексические единицы, первая, собственно филологическая фи-

ксация которых относится к отражаемому данным словарем периоду, например, *беспредел, консалтинг, насельник, прокрутить, разборка, ризлтер, рокер, роллер, тендер, тусовка* и т.п. Вторую группу образуют обновленные в семантическом, сочетаемом, оценочном и т.п. отношении слова, например, *аренда, банк, верноподданныческий, диссидент, рынок* и т.п. В третью группу входят слова, существенно изменившие свой статус и перешедшие в последнее десятилетие из глубокого пассива в разряд актуальных и употребительных, например, *духовность, либерал, покаяние, преподобный* и т.п. Наконец, четвертую группу формируют лексические единицы, отражающие особенности советского периода в жизни нашей страны, например, *всесоюзный, звёздочка, передовик, райком, трэшник* и т.п. Всего в Словаре рассмотрено около 5500 лексических единиц.

Помимо словника, составляющего левую часть словаря, лицо любого лексикографического произведения определяется информационной насыщенностью его правой части, которую образуют сведения о каждом включенном в него слове. В рассматриваемом словаре к такого рода сведениям относятся прежде всего грамматическая характеристика, толкования, иллюстративные и оправдательные речения, устойчивые словосочетания, требующие пояснения, фразеологизмы, сведения справочного характера (смежные по значению лексические единицы; гипонимы и гиперонимы; энциклопедическая информация; альтернативные толкования, предлагаемые в других словарях). Кроме того в словарных статьях можно найти указание о том, что соответствующую заголовочную единицу надо писать с заглавной буквы; информацию о произношении аббревиатур инициального типа и о случаях твердого произнесения согласных перед [e]; этимологическую справку (при новых заимствованных словах).

Оценивая рецензируемый словарь в целом, следует сразу и определенно заявить о том, что его создание представляет собой одно из наиболее заметных событий в оживленной лексикографической жизни современной России. Важнейшей особенностью Словаря является, как мне представляется, его выраженный новаторский характер. Это качество проявляется в целом ряде весьма интересных авторских решений. К их числу я отношу прежде всего выбор самого объекта лексикографирования. Этим объектом впервые стали слова русского языка, объединенные одним общим свойством, которое можно охарактеризовать так: находиться в движении, ведущем к изменению статуса, характеризоваться осязательно новым статусом в лексической системе русского языка. Именно названное свойство и только оно позволяет объединить в единый массив такие слова, как на наших глазах появившиеся в русском языке *банкомат, контрактник, мониторинг, совок, тусовка, фанат, факс* и т.п., резко активизировавшиеся в условиях современной жизни *вампир, масленица, премьер, преподобный, проститутка,*

святки и т.п., так и уходящие на периферию *звездочка, исполком, марксизм-ленинизм, оппортунист, разнарядка* и т.п.

Несомненно счастливой надо признать идею использования “говорящих” графических знаков для указания на статусные свойства того или иного слова. Первые два из этих знаков свидетельствуют о том, что соответствующее слово либо впервые фиксируется в филологическом словаре, либо его первая фиксация относится к периоду, который отражается данным словарем. Третий знак – направленная вверх стрелка – указывает на заметную активизацию слова. Стрелка, направленная вправо, говорит о том, что слово служит обозначением вернувшемуся в нашу жизнь предмета или явления. Наконец, направленная влево стрелка как бы уводит слово из круга актуальных и ходовых в языковые закрома, где его удел либо ждать своего часа, чтобы вернуться в силу и славе, либо тихо истлеть, как до него истлели тысячи других отслуживших свое слов. Приведенные пять знаков позволили авторам отразить динамику изменений, происходящих в лексической системе современного русского языка и тем самым существенно расширить выразительные возможности традиционного гутенберговского лексикографирования.

Создание и использование в качестве базы специальной электронной картотеки длиной в два миллиона словоупотреблений дало авторам возможность включить в словарь и объяснить практически все новые слова, относящиеся к числу так называемых знаковых, т.е. таких, появление которых “обусловлено особенностями именно сегодняшнего социально-политического, экономического и духовного бытия русского этноса” (А.В. Бонифилд).

К числу достоинств Словаря нельзя не отнести и небывало многостороннюю характеристику заголовочных единиц. Идея комплексного, всохватного их описания, впервые выдвинутая и детально разработанная в учебной лексикографии, смогла, наконец, найти воплощение (пусть частичное, непоследовательное) и в неучебном, вполне лингвоцентрическом словаре. Это стало возможным благодаря небольшому по меркам неучебной лексикографии словнику Словаря.

Если достоинства Словаря, как нетрудно видеть, определяются прежде всего оригинальностью положенной в его основание лексикографической идеи и новаторским характером макета словарной статьи, то основные его недостатки обусловлены очевидным пренебрежением к таким традициям русской академической лексикографии, как тщательность и последовательность проработки всех указанных в вводной статье аспектов заголовочных слов; повышенная чуткость к семантике; безусловная согласованность вводной статьи и текста словаря, а также разных зон словарной статьи; очевидное недоверие, а порой и определенная брезгливость по отношению к текстам низкого жанра в качестве источника иллюстративных, подтверждательных и оправдательных цитат; прозрачность и лапидарность объяснительной статьи и некоторые другие. Ко-

нечно, о недостатках обсуждаемого словаря можно было бы умолчать, но тогда читатель вообще не поверил бы рецензии, поскольку словарей вполне идеальных не бывает. Поэтому о недостатках. Они не носят принципиального характера, но их, к сожалению, много.

Главным несовершенством обсуждаемого словаря является, как мне представляется, какая-то общая торопливость, недодуманность, предварительность многих предлагаемых в нем заключений, формулировок, оценок. Создается впечатление, что авторы очень спешили, и это не замедлило сказаться на качестве Словаря: ведь поспешность и серьезное лексикографирование – вещи “несовместные”. Именно неуместной торопливостью можно объяснить спорность определенных фрагментов словника, когда наряду с новыми словами, действительно вошедшими в русский язык, в словник попали и такие несостоявшиеся претенденты на статус нового слова, как *акционеризация, бывшиевики, дампинг, дефицитарный, застойщик, киднеппер, корруппант, прайвеси/ прайвэси, спидовед* и др.

Недостаточно убедительными по той же, как мне представляется, причине являются многие оценки статусных свойств заголовочных единиц, например, утверждение об актуализации таких слов, как *аграрный, бронетранспортер, зарплата, качество, пропаганда, рандеву, раскулачивание, чекист* и т.п. или о возвращении в актив слов *вердикт, великосветский, послушание* и нек. др. Определенные претензии можно предъявить и к интерпретации семантики заголовочных единиц. Прежде всего речь идет о качестве толкований, среди которых встречаются и недостаточные, и излишне ангажированные, и просто неверные. Недостаточность толкования легко устанавливается посредством сопоставления его с приводимыми здесь же иллюстративными текстовыми отрезками. Так, если *галерея* – это, как указывается в толковании, “специально оборудованное помещение...”, то как можно сотрудничать с ней или как она может что-то покупать (об этом говорится в цитатах)?; если *патриархат* – “система управления”, то можно ли передать ему 150 икон?

К числу излишне ангажированных я отношу толкования, в которых вместо спокойного и рассудительного описания семантики предлагаются какие-то жалкие вскрики, должествующие, вероятно, еще и еще раз осудить “проклятое советское прошлое”. Вот как выглядит, например, замечательное по своей нелепости толкование слова *благоденствие*: “**В советское время:** материальное и духовное процветание народа как высшая программная цель Коммунистической партии Советского Союза, советского правительства и государства” (выделено мною. – В.М.). Примером неверного толкования является текстовый отрезок, соответствующий в Словаре лексической единице *аудирование*¹ – “Метод преподавания языка, при котором тексты родного языка или иноязычные воспринимаются и пересказываются со слуха”. На самом деле *аудированием* в методике преподавания иностранных языков назы-

вают один из видов речевой деятельности (наряду с чтением, говорением и письмом). Двойную ошибку допускают авторы в интерпретации слова *блаженный*^{1,2}. Прежде всего здесь нет, как кажется, основания говорить об омонимии. Слово *блаженный*, если рассматривать только собственно христианский фрагмент его семантики, употребляется в двух значениях: во-первых, как синоним слова *юродивый*, а во-вторых, как постоянный эпитет, связанный с именами св. Августина, епископа Иппонийского и св. Иеронима Стридонского.

В определенное замешательство способны привести пользователя некоторые этимологические справки. Так, если при слове *пароль* указывается, что оно произошло от английского слова *password*, это явно нуждается в комментарии. Слово *бейсик* в знач. “язык программирования” происходит, по мнению авторов, от английского слова *basic* “основной, базовый”, тогда как в действительности его английским коррелятом является аббревиатура инициального типа BASIC, т.е. Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code. Кроме того, остается неясным, почему, вопреки указанию в § 53 Введения при многих новых заимствованных словах этимологические справки отсутствуют. например, *бакалавриат* (можно было бы указать < англ. *baccalaureate*), *бизнес-класс* (можно было бы привести < англ. *business class*) и т.п.

Явной ущербностью страдает грамматическая характеристика многих заголовочных слов, например, *биополе* – не указываются формы множественного числа; *забрать* – не указываются формы прошедшего времени и т.п.

Неприятное впечатление производит несогласованность между указаниями, содержащимися во Введении, и текстом словарных статей. Например, если слово *седмица* толкуется с помощью синонима *неделя* и не имеет при себе стилистической пометы, то, согласно параграфу 31 Введения, между ними должен стоять знак равенства, которого, однако, нет; если слово *бродяжка*, сопровождаемое пометой *Разг.*, толкуется с помощью синонима *бродяга*, то между ними, в согласии с тем же параграфом, знака равенства не должно быть, а он, однако, стоит. На стр. 6 среди прочего указывается на наличие в словнике слова *раздрай*, что не соответствует действительности. Аналогичная несогласованность наблюдается и между разными зонами одной и той же словарной статьи, а также между разными статьями. Например, при слове *Интернет* стоит помета *нескл.*, а в иллюстративных словосочетаниях и предложениях оно употребляется и в форме родительного падежа (*легли в основу Интернета*), и в форме дательного падежа (*полазть по Интернету*), и в форме предложного падежа (*создали в Интернете серверы*). Еще пример. В статье с заголовочным словом *Пресвятая* читаем [П прописная], а в статье *канон* видим словосочетание *К. по пресвятой Богородице*, где указанное слово написано со строчной буквы (кстати, предлога “по” в приведенном словосочетании быть не должно).

Явно неудачным (ложноориентирующим) кажется решение авторов использовать для указания на побочное ударение диакритический знак (акут) вместо привычного (грэвиса), например, *дэстабилизи́ровать* и под.

Словарь, я думаю, выиграл бы, если бы авторы сочли возможным каким-нибудь способом оповестить пользователей о том, что у того или иного рассматриваемого слова есть и другие значения, которые в данном лексикографическом произведении не отражаются. Словарь несомненно выиграл бы и в том случае, если бы авторы строже и осмысленнее отнеслись к отбору цитат, поскольку сейчас эта зона словарных статей явно перегружена совершенно пустыми, лингвистически неинтересными и не содержащими никакой прибавочной или просто полезной информации извлечениями из газет и журналов. Более того, среди этих извлечений встречаются и просто неграмотные текстовые отрезки. Возьмем для примера статью *мощи*. Вот толкование заголовочной единицы: “В католичестве и православии – останки тел святых, многие из которых остаются нетленными и служат объектом поклонения” (кстати, почему “в католичестве и православии”, а не “в православии и католичестве”, что кажется более уместным в словаре **русского языка**?). В цитатной зоне статьи приводится такое предложение: *Немало шума наделало в Германии перезахоронение мощей двух прусских королей – Фридриха II и его отца Фридриха Вильгельма I ЭП*, 1991. 35. Позвольте, но ведь прусские Гогенцоллерны были протестантами и, следовательно, по отношению к названным в предложении лицам можно говорить лишь об останках, но никак не о мощах.

И, наконец, о вводной статье, которая, я думаю, могла бы быть и более информативной, и более продуманной в части композиции, и более внятной в языковом оформлении, и менее жаргонизированной. Действительно, как пользователь должен произносить и понимать навязчиво повторяемый во Введении и, надо признать, отнюдь не ласкающий уха глагол “маркировать”, если соответствующий лексико-семантический вариант не отмечается у этого глагола ни в одном из объяснительных словарей русского языка? Как с точки зрения языкового вкуса следует относиться к следующим пассажирам из рассматриваемой статьи: *Сложносокращенные слова даются через помету Сокр. и раскрытие аббревиатуры (с. 18); Разг. (разговорное) является антиподом (?!) пометы Книжн. (с. 21); При имени существительном показывается <...> указание рода (с. 22); В сложносоставных существительных <...> показывается флексия (с. 23); Имя существительное разрабатывается в единственном числе (с. 23); Если слово обозначает некоторую совокупность, в этом случае разработка дается при множественном числе (с. 23); Формы единственного числа приводятся в своем алфавитном месте (с. 23); Далее приводится толкование на совершенный вид и иллюстрации на совершенный и несовершенный (с. 24); Двувидо-*

вые глаголы истолковываются через видовую пару (с. 24); Омонимы разрабатываются с цифровым указателем (с. 25); В словарной статье приводятся также указания на нормативное написание прописной буквы (с. 26) и т.д. Недостаточно высокое качество обсуждаемой статьи тем более огорчительно, что в русской академической лексикографии, уверения в верности традициям которой повторяются во Введении как заклинание, жанр вводно-инструктивного раздела разработан очень хорошо.

Завершая свой, может быть, излишне ворчливый отзыв, хочу сказать, что упомянутые в нем несовершенства кажутся значительными только на ограниченном пространстве его текста. Когда же мы берем в руки сам объект рассмотрения – прекрасно изданный семистраничный фоллиант, они тут же умяются до едва различимости. Это и понятно. Созданный под руководством Г.Н. Скляревой словарь представляет собой фундаментальный лексикографический труд, имеющий большую ценность как в лингвистическом, так и в историко-культурном отношении.

В лингвистическом отношении, т.е. с точки зрения описания языка, значимость Словаря определяется тем, что в нем “схвачена”, приведена в известность и всесторонне рассмотрена та часть русского словарного состава, в которой с невиданной доселе полнотой и выразительностью воплощается так называемая языковая динамика. Особый интерес для сегодняшнего пользователя представляет при этом отраженная в Словаре новая лексика, а также лексика, переживающая на наших глазах второе рождение. В этом отношении Словарь очень удачно дополняет и академические словари, и такие популярные лексикографические произведения среднего объема, как Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. Что касается рассмотренной в Словаре лексики, уходящей из повседневного употребления, т.е. слов, которые отражают реалии советской жизни, то это объект внимания прежде всего завтрашнего пользователя; интерес к лексике советской эпохи будет неуклонно возрастать с течением времени, что вполне понятно.

В историко-культурном отношении рецензируемый словарь представляет большую ценность как памятник, в котором запечатлены наиболее выразительные черты и гримасы одного из наиболее значимых периодов в истории России.

Наконец, **Толковый словарь русского языка XX в. Языковые изменения** – это несомненный вклад в теорию и практику словарного дела. Его создание знаменует определенный жанрово-типологический прорыв, а это случается нечасто и должно рассматриваться как веха в развитии отечественной лексикографии.

В.В. Морковкин,
доктор филологических наук,
профессор

У "НАСТЕННОГО ПОСОБИЯ"

И.В. МУРАВЬЕВА,
кандидат филологических наук

Недавно одна моя студентка, которая не только учится на факультете журналистики, но и работает на телевидении, в растерянности спросила: "А правда, что слово *ибо* произносится с ударением на втором слоге – *ибó*?" "Нет, конечно, а почему Вы думаете, что *ибó* – это правильно?" – удивилась я. Оказывается, в телекомпанию пригласили консультантов (что вполне разумно), они слушают, как говорят ведущие и корреспонденты, и отмечают разного рода неправильности. А потом все это с именами-фамилиями вывешивается на всеобщее обозрение под рубриками: "слышно" и "надо". Вот такое "обучение без отрыва". Этому можно было бы только радоваться.

Однако когда я увидела две странички из этого "настенного пособия", мой восторг несколько поубавился. Конечно, здесь были точные замечания: например, "нельзя говорить *по водному полу* или *едва от-правившись от шока*". Однако многие требования консультантов были но меньшей мере неожиданными: скажем, "нельзя сказать *простые берлинцы*, потому что сложных берлинцев не бывает". А ведь у слова *простой* есть значение "непривилегированный" или "обыкновенный, ничем не примечательный" ("простой человек никогда бы этого не сделал", "он был простым экономистом"), такое значение есть в толковых словарях, и именно в этом значении использует журналист слово *простой*.

Но больше всего удивительных рекомендаций было связано с произношением: для слова *теракт* было позволено только так называемое твердое произношение (*тэракт*), мягкое произношение (*теракт*) исключалось; в словах *переживший* (землетрясение) и *скупы* (на хорошие новости) ударение было дано на первом слоге – *пéреживший, скúпы*.

Понятно стремление лингвистов-консультантов сделать телевизионную речь правильной, соответствующей норме. Однако хорошо известно, что норма будет принята говорящими только в том случае, если она имеет серьезное обоснование. Чтобы нормативные рекомендации были достоверными, они должны учитывать не только языковую традицию (как говорили раньше?), но и особенности языковой системы, и речевую практику (как говорят сегодня?). Нередко конфликты между речью и нормой возникают не потому, что "никто не знает нормы", а потому, что в речевом поведении говорящих что-то меняется.

Сомнения в справедливости советов, которые давали консультанты, натолкнули меня на мысль предложить “трудные случаи” обычным пользователям языка, студентам технического вуза. И вот что получилось.

1. Как – твердо или мягко – произносить согласный звук в словах *тер-акт* и *стратегия*?

| | |
|-----------------|--------------------|
| тера к т | страте г ия |
| {тэ} – 10 | {тэ} – 3 |
| {т'э} – 9 | {т'э} – 16 |

2. Произнесите слово. На каком слоге должно быть ударение в словах?

| | |
|--|--------------------------|
| а) и б о – 18 | и б о – 1 |
| б) п е реживший – 0 (землетрясение) | п е реживший – 19 |
| в) с к упы – 1 (на хорошие новости) | с к упы – 18 |

3. Произнесите слово. Какой звук произносится на месте орфографического “е”?

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| а) у н есшего – 12 | у н ёсшего – 7 |
| б) об н адеживающий – 0 | об н адёживающий – 19 |

Конечно, этот маленький эксперимент нельзя считать обоснованием произносительной нормы. Тем не менее в его результатах можно увидеть интересные тенденции, которые мы наблюдаем сегодня в речевом поведении говорящих и которые не могут не учитываться нормой. Одна из этих тенденций – речевая наивность. Суть ее в том, что говорящий стремится сегодня к простоте речевых решений (“хочу быть простым, и поэтому доступным”, “чем проще, тем лучше”).

“Простота” речевых решений возникает на основе широко понимаемой аналогии, и именно это мы видим в особенностях выбора варианта произношения слова. Если в одном из значений (“прожить дольше кого-чего-н.”) слово *переживший* произносится с ударением на третьем слоге, то и в другом значении (“вынести, вытерпеть”) мы стремимся сохранить такое же ударение. Кстати, эта возможность отмечается еще в толковом словаре С.И. Ожегова и подтверждается современными словарями (см.: Краткий словарь трудностей. Грамматические формы. Ударение. М., 1994). Более того, если все-таки сторонники строгой нормы настаивают на различном ударении в слове *переживший*, они должны объяснить, как произносить это слово и в других значениях, которые у него есть (“прожить, просуществовать какое-л. время”, “проникнуться чувствами и мыслями изображаемого персонажа” и т.д.). Похожая ситуация и со словом *скупой*: словари отмечают как одинаково возможные (а не различные в зависимости от значения) варианты произношения: *скупы* и *скупы*.

Свободная аналогия, безусловно, может приводить к неправильным (с точки зрения существующей нормы) вариантам, как, скажем, в сло-

ве *унесшего* (правильно: *унёсший*), однако и в этом случае мы видим, как под действием аналогии в речи выбирается другой вариант: *завести – завёл – заведший, набрести – набрёл – набредший, повести – повёл – поведший*, как следствие: *унести – унёс – унесший*. Интересно, что в слове *обнадёживающий* другого, неправильного, произношения не было.

Как оценивать такие речевые факты, такую речевую наивность, желание говорить проще? Ясно, что норма не является застывшим явлением, она меняется, а тот, кто хочет давать рекомендации, как правильно говорить и писать, берет на себя определенные обязательства в речевом поведении. Он не может отмахнуться от тех тенденций, которые проявляются в речевом поведении. Он не должен считать собственное представление о строгой норме (“моя норма”) истиной в последней инстанции. Наконец, он не может опираться на данные словарей, которые выходили десять-пятнадцать лет назад. К тому же, даже если согласиться с тем, что на радио и телевидении все должны говорить одинаково (что вряд ли достижимо при том, что разные консультанты дают разные рекомендации), то подобное “настенное обучение” скорее вызовет желание навсегда замолчать, чем стремление говорить правильно.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Подписка на журнал “Русская речь” (индекс 70788) принимается в отделениях связи.

По вопросам льготной подписки обращайтесь в редакцию.

Телефон: 290-23-78.
